

**ГЮНТЕР**

**ВЕЙЗЕНБОРН**

**Трасседователь**



**GÜNTHER WEISENBORN**

**DER VERFOLGER**

**Die Niederschrift des Daniel Brendel**

**1 9 6 1**



**ГЮНТЕР ВЕЙЗЕНБОРН**

# **ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ**

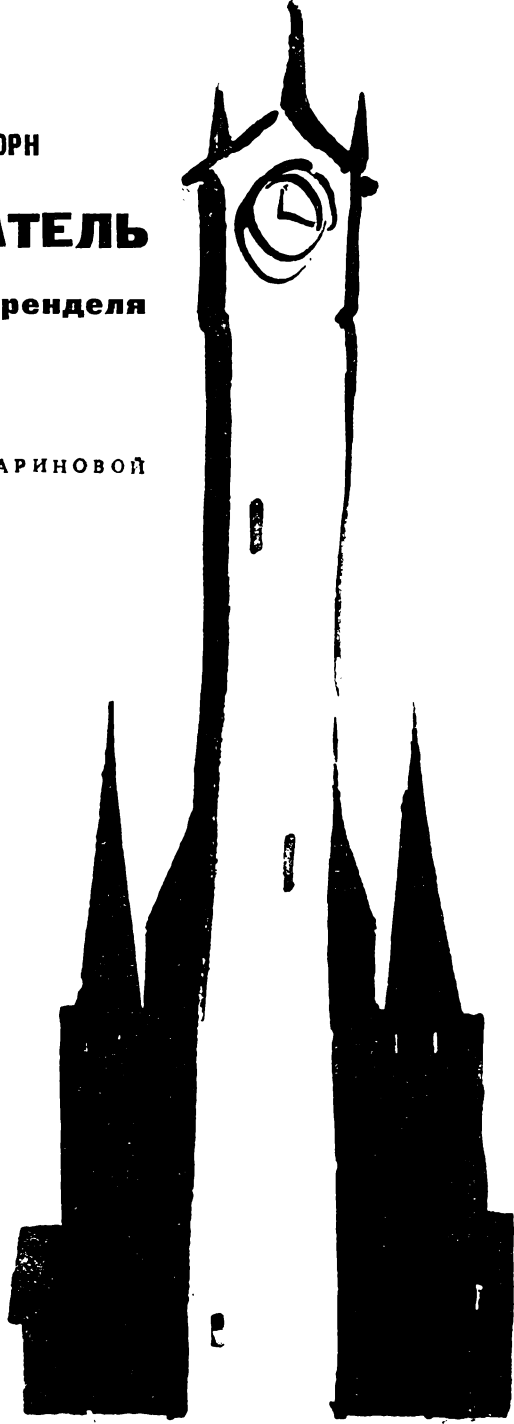
**Записки Даниэля Бренделя**

**Роман**

**Перевод с немецкого**

**Н. КАСАТКИНОЙ и И. ТАТАРИНОВОЙ**

**Издательство  
иностранной литературы  
Москва 1963**



*Послесловие*

Л. СИМОНЯН

*Редактор*

И. КАРИНЦЕВА

---

**ТРИ ЧАСА УТРА**

Три часа. Он должен появиться с минуты на минуту. Он перейдет через улицу. Я включу передачу и рвану с места. Затем дам полный газ, и он очутится под колесами. Сочтут, что произошел несчастный случай со смертельным исходом, а шофер скрылся.

Я стою здесь уже больше месяца, все ночи подряд, и выслеживаю его. Вчера я взял машину. В ней тонна веса. Если я двинусь с места не сразу, возможно, я только собью его. А мне надо наехать на него прямо в лоб. Так, чтобы он очутился перед самым радиатором.

Свежий ночной воздух успокаивает. Я не волнуюсь. Напротив того, я размышляю холодно и ясно. Мне нравится холодное спокойствие, которое навевают безлюдные улицы больших городов в три часа утра.

Как только подъедет его такси, я включу мотор; на холостом ходу мотора почти не слышно.

Он будет навеселе, как всегда, молча расплатится с шофером, и такси уедет. Так бывало уже не раз. Он, как и всегда, подойдет к желтому автомату, возьмет пачку сигарет. Затем, что-то насвистывая, перейдет через улицу, не очень торопясь.

Начинается дождь, чуть накрапывает. Отлично. Тем правдоподобнее будет несчастный случай...

Во время войны я потерял его из виду. Но потом мне посчастливилось увидеть его на вокзале в зале ожидания. Сквозь желтые окна солнечные лучи бросали оранжевые отсветы на столы, мимо которых он медленно приближался ко мне. Я сразу узнал его. Он явно преуспел, вид у него был холеный. Когда он подходил к моему столику, я спрятался за газету. Он меня не видел. Он прошел мимо. Я медленно опустил газету и незаметно проводил его взглядом. Он чуть поседел. Но походка осталась прежняя — ленивая, вразвалку. Он не спеша, спокойно шел по залу, и было в нем что-то от тех добрых дядей, что носят в кармане конфеты для

деток. Круглый, вздувшийся, как пузырь, лоб, лучики морщинок вокруг глаз, светлые усики над ярко-красными, как коралл, губами; несомненно, это был он, и ничто в нем не выдавало бывшего гестаповского шпика. Из зала выходил благодушный господин, сытый и превосходно настроенный.

Я поспешил расплатиться и тайком последовал за ним. В вестибюле он купил газету. Выйдя из вокзала, сел в автобус. Я поехал за ним в такси. В центре города он вышел из автобуса и направился к дому номер 66. Он поднялся в пансион «Эльвира» на третий этаж, у него был свой ключ. Я услышал громкий хохот двух женщин, замолкших при его появлении. И так, он жил здесь.

На следующий вечер я сидел в пивнушке, из окна которой мог наблюдать за домом номер 66. Уже стемнело, когда он вышел из дому. Я узнал его при свете фонаря по светлому плащу. Я постарался попасться ему навстречу. Когда он поравнялся со мной, я остановился и с сигаретой в руках спросил:

— Простите, нет ли у вас спичек?

Минутку он колебался, затем нерешительно вытащил из кармана пальто коробок и зажег спичку. Я прикурил и посмотрел на него. Я посмотрел на него с улыбкой, потому что ни в коем случае не хотел возбудить в нем подозрение.

— Спасибо. Послушайте, ведь мы, кажется, встречались?

— Встречались?.. Мы?.. Где?

Да, это был его голос, голос, который я не забыл, его голос с певучими гласными.

— Мне ваше лицо очень знакомо... — услышал я собственный спокойный голос; в таком тоне говорят с добрым знакомым, похлопывая его по плечу.

— Вам знакомо мое лицо?.. Нет, я вас не знаю.

Я ответил не совсем уверенно, будто перебирая в уме старых приятелей, компанейских молодых людей, с которыми когда-то отлично проводил время.

— Пойдите-ка... — Потом, вздохнув с облегчением, прибавил: — Ну, конечно... — И потом выпалил, глядя ему в глаза: — Ведь ты Пауль, Пауль Ридель!

Он почти не изменился в лице. Только губы стянулись в кораллово-красное колечко. Как знакома была

мне эта его реакция, это красное колечко под усиками, словно всасывающее воздух. Он прикинулся очень удивленным.

— Так кто я, по-вашему?

— Ну, конечно же, Пауль Ридель! Пауль, старый друг!

Но мое радостное обращение, мой неискренне задушевный тон, нарочитая попытка создать атмосферу сердечности насторожили его. Лицо его замкнулось.

— Вы, без сомнения, ошибаетесь.

И тут я пошел ва-банк. Было около семи вечера, на улицах былолюдно, с грохотом опускались на витрины железные шторы, мимо мчались машины, и когда я сделал еще шаг и остановился прямо против него, мы оба очутились в свете фар.

— Ошибаюсь? Нет. Да ты посмотри мне в глаза, Пауль!

И тут он узнал меня. Впечатление было такое, словно он поднес кусок сахара к морде лошади и вдруг увидел, что перед ним пасть тигра. Он крикнул:

— Вы пьяны, приятель! — и поспешил удрать.

А я расхохотался, расхохотался громко, во все горло. Я чувствовал, что гора свалилась у меня с плеч. Я поймал его.

Я тут же отправился в пансион «Эльвира». Дверь открыла широкоплечая хозяйка в седых кудряшках, с желтой гусиной шеей и парой птичьих глаз.

— Простите, пожалуйста... Что Пауль... я хотел сказать — господин Ридель... уже ушел? Я должен был зайти за ним...

Лицо ее смягчилось, на нем обозначился намек на улыбку, но, по-видимому, улыбке было там не по себе, она потомилась, потомилась и потихоньку свернулась.

— Не повезло вам, молодой человек. Минут пять как он ушел.

— Ах как жаль. Где он может быть?

— Ну, конечно, в баре «Аскона», где же еще!

— Надеюсь, он не забыл захватить мою книгу...

— Какую книгу?

— Ах, такой большой альбом фотографий. Мне бы хотелось взять его.

В ее глазах затаилась настороженность закосневшей в недоверии хозяйки пансиона, но все же она сказала:



— Пожалуйста, пойдите со мной.

Комната у него была маленькая и пустая, словно в ней жил унтер-офицер от музыки. Открытое пианино. Пожелтевшие клавиши. Неубранные ноты: джаз... «Калипсо»... «Семь смертных грехов»... Чарли Паркер...

Коричневый пузатый китайский болванчик торопливо кивал головой. Над скромной кроватью висела за стеклом цветная литография — кающаяся Магдалина. Тут не было ничего характерного — самая обычная мебелированная комната. Он скрылся за обезличивающей заурядностью. Комната явно привыкла ждать обыска.

— Здесь не видно альбома фотографий.

Квартирная хозяйка действовала привычно и уверенно. Она была превосходно знакома с вещами своего жильца. Ее большие твердые пальцы, казалось, созданы для того, чтобы барабанить по столу в ожидании уплаты наличными.

— Значит, он его все-таки захватил.

— Должно быть так, господин...

— Брендель.

— ... господин Брендель.

— Да, я старый друг Пауля, господина Риделя, еще с довоенного времени.

— Вот как.

Эльвира опять попыталась выдавить улыбку, обнажившую ряд серовато-желтых лошадиных зубов.

Я попрощался. Я увидел все, что мне было надо. В ближайшей пивной я нашел в телефонной книжке адрес бара «Аскона».

В тот же вечер я сидел в уголке этого бара и, потягивая кампари, наблюдал за пианистом. У него было то же туше. Прежняя высокомерно слащавая манера одинокого и непризнанного пианиста-сноба, играющего «кровью сердца». Обратите внимание, уважаемые посетители, на закрытые глаза артиста, на спокойный транс, на педаль, на глissандо. Слышите, как его душа изливается в мелодии? И все для того, чтобы вы получили полное удовольствие, заказав рюмку коньяку с содовой. Обычные его пошлые приемчики, и все же в его игре чувствовалась рука прирожденного музыканта. Virtuозная халтура для людей примитивных: подчеркнутый лиризм и всяческие эффекты с педалью. Но вре-

менами в этом захватском брэнчанье для непосвященных звучал золотой аккорд. Он играл с синкопами, вариациями, изменял музыкальную фразу, легко транспонировал умелой рукой и переходил от «ча-ча-ча» к блюзам. Что и говорить, блестящий музыкант!

Временами мне виделся за роялем одаренный друг моей юности, уже тогда несколько склонный к полноте, несколько циничный, шахматист, при трудных ходах стягивавший кораллово-красные губы в колючку. В ту пору он мечтал сделать музыкальную карьеру. Временами мне виделся он таким, каким стал впоследствии, — трусливым доносчиком, шпиком, при виде которого у нас перехватывало дыхание. В свое время он поставлял покойников на кладбище, а сейчас играл на рояле в баре.

Кельнеры носились туда и сюда, стаканы звенели, смеялись посетители. Несколько пар танцевали. Вдоль матовых абажуров, дававших рассеянный свет, взмывали вверх опаловые вымпелы дыма, приглушенно хлопали пробки шампанского. Здесь отливающая золотом модная прическа над белым наивным личиком с мигающими глазками, там розовый бюст над зеленой тафтой, всюду изобилие жадной до житейских радостей плоти, словно выставленной на продажу, пока она еще не состарилась, и тут же грузные мужчины со штампованными лицами дельцов, воровато ощупывающие глазами своих кукол, громкий смех, очки, поблескивающие из дальних углов, шепот, и похоть, и расчет, гул голосов, смех. Я незаметно вышел.

По дороге домой я остановился у куста цветущего жасмина и, наслаждаясь ситуацией, вдохнул аромат цветов.

Он найден. Поиски не прекращались в течение нескольких лет. Теперь наконец начинается преследование, и преследователь — я.

Он должен знать, что я тут, что я остался в живых и в любую минуту могу встать на его пути. Он не знает, где я пребываю. На моей стороне преимущество. Для него я недостижим. Я где-то, но где — неизвестно. Возможно, что он переедет, но я не отстану от него. Я знаю его. С этого дня он будет жить в вечном страхе. Ему слишком хорошо известно, кто я. Существуют люди, так сказать, специализировавшиеся на вражде, они страшнее случайных врагов.

Это бывшие друзья, которые лучше других знают, как нанести смертельный удар, лучше знают слабые места, которые все мы стараемся скрыть от посторонних, — все равно, что это: лжесвидетельство, донос в гестапо или труп в подвале, как это часто случается в смутные времена.

Впрочем, врагами мы стали тогда не из-за личных дел, нет, не из-за личных. Из-за «Серебряной шестерки».

## 2

---

### ТРИ ЧАСА ПЯТЬ МИНУТ

Тогда я еще не знал, что убью его. Такого исхода я не предусматривал, несмотря на те тяжкие испытания, через которые мне пришлось пройти, не предусматривал, что буду сидеть ночью за рулем лимузина ради того, чтобы задавить его, уничтожить физически. И в самом деле, много надо было испытать, чтобы прийти к этому: выслеживать его тут, в большом городе, где на нас смотрят залитые огнями магазины, освещенные, как днем, витрины. И все же я мало чем отличался от первобытного человека, притаившегося в чаще девственного леса и высматривающего зоркими глазами другого человека, чтобы со всей силой всадить копьё прямо ему в голый живот, да так, чтобы оно прошло насквозь и окровавленное острие вышло наружу у спинного хребта. У меня нет копья. Мое оружие — лимузин в тонну веса. Но оно не менее смертоносно.

Тогда, после того как я нашел Пауля Риделя, я отправился к рекомендованному мне адвокату М. Это был известный криминалист с круглым, как луна, лицом, на котором сквозь массивные очки холодно поблескивали голубые глаза. Рыжеватый пушок покрывал его большую голову; человек грузный, однако элегантный, подвижный, быстро вникающий в суть дела. У людей этого склада есть так называемая практическая хватка. Они знают, какими приемами и эффектами добиться успеха. Они умеют говорить много и задушевно, иной

раз на языке у них мед, а иной раз они мечут громы и молнии. Они умеют, багровея от возмущения, выудить из объемистых фолиантов свода законов позабытую статью и грозно метнуть ее на судейский стол; они умеют многозначительно проскандировать выигрышный кусок своей многозначительной речи, а затем с чисто олимпийским спокойствием потребовать оправдательного приговора и тем самым сбить с толку менее смекалистых судей.

Честно говорю: я преклоняюсь перед такими людьми и перед их треклятой непогрешимостью. Да, обвинительный приговор всегда выносится другим, и за решетку попадают другие, а они тем временем готовят новый запас елтя и гнева для следующего процесса.

Я сказал ему, что хочу подать в суд на одного человека.

— По какому делу?

— По политическому.

— Вот как!

— Хочу подать в суд на доносчика. Вот мое заявление в письменном виде: «Я, Даниэль Брендель, служащий и т. д. ...проживающий и т. д. ...заявляю, что пианист Пауль Ридель, проживающий и т. д. ...работающий в баре «Аскона» там-то и там... донес в гестапо, в отдел IVa, на сестру милосердия Еву Ланг, на токаря Вальтера Хайнике и на остальных членов группы сопротивления «Серебряная шестерка», среди прочих и на нижеподписавшегося».

Он прочитал мое заявление и поднял голову.

— Вы уже обращались в прокуратуру?

— Да, там мне сказали, что я должен представить документальные данные. Вот почему я и обращаюсь к вам.

— Как давно знаете вы этого Риделя?

— Со времени войны. Мы были тогда музыкантами. Мы играли в ресторане «Хейнес». Наш оркестр назывался «Серебряная шестерка». Пауль Ридель играл на рояле. У нас была певица — исполнительница модных песенок.

— Как ее звали?

— Ева Ланг. Нас было пять мужчин и она.

— «Шестерка» — это шесть инструментов.

— Да, пять инструментов... и Ева. Я имею в виду ее голос.

— А Пауль Ридель?

— Я уже сказал — он играл на рояле, он профессиональный пианист.

— А почему, господин Брендель, вы считаете, что он донес на вас, на вас и ваших друзей?

— Он был политически не совсем благонадежен. У него в семье были какие-то неприятности. Его отец эмигрировал из-за так называемого экономического преступления. От Пауля потребовали, чтобы он официально отрекся от отца. Как-то раз он по собственному почину рассказал, что его вызвали в гестапо и потребовали, чтобы он делами доказал свою лояльность.

— А что мог он донести на оркестр «Серебряная шестерка»?

— У нас была тайна.

М. взял из серебряной коробочки таблетку, проглотил ее, перегнулся через стол и снял свои массивные очки. Он смотрел на меня затуманенным взглядом близоруких глаз, за которым угадывалась работа весьма дальнзоркого ума. Я обратил внимание, что на таком большом лице очень мало места отведено носу, рту и глазам, они даже как-то терялись среди могучих выпуклостей: розового, гладко выбритого подбородка, огромного лба и мясистых щек. И над этой крошечной физиономией грозными балками нависали белесые брови, густые и сросшиеся.

— Какая тайна?

Я рассказал, что в самом начале войны Пелле был призван. Я рассказал, что Пелле попал в полк, оккупировавший Польшу, что там он увидел, какими зверями могут быть в наши дни люди по отношению к людям же, и, увидя, в корне изменился. За долгие ночи в госпитале он многое передумал и понял, понял, например, что люди не должны злодеяниями добиваться своей цели. Это я рассказал адвокату и прибавил, что Пелле вернулся в наш оркестр и поделился с нами своими страшными воспоминаниями. Как-то ночью он и предложил нам одно дело.

И я рассказал адвокату о том, что предложил нам Пелле, о листовках.

— Распространять листовки?

— Да.

— Польские?

— Нет, собственного производства.

— Следует ли вас так понимать, что «Серебряная шестерка» составляла и распространяла листовки?

— Именно так. По воскресеньям утром, когда мы сыгрывались, двое из нас всегда работали над размножением листовок. Мы оставляли листовки в телефонных будках, на лестницах, в трамваях и рассылали их по почте.

Он сидел, откинувшись на спинку стула, и играл очками.

— С какой целью? Вы хотели убедить людей, что войну пора кончать?

— Да.

Он усмехнулся. Затем принялся меня разглядывать с явным любопытством, словно у него на глазах совершалось превращение златокудрого херувима в скорпиона. Он закрыл серебряную коробочку и еще раз окинул меня взглядом естествоиспытателя.

— Итак: группа сопротивления или своего рода героическое безумство... чистейшее самоубийство, все равно как если бы вы с пятью пфеннигами в кармане вздумали затеять тяжбу с миллионером. Вам никогда не приходило в голову, что смешно нападать с пилочкой для ногтей на живущего в одном с вами доме систематического убийцу, который всегда начеку и вооружен автоматом?

— Дело тут не в оружии, а в людях. Просто было слишком мало готовых на это людей.

— Он позаботился, чтобы их осталось поменьше. Но всегда найдутся готовые умереть юнцы, сеющие смерть и умирающие сами, слепые фанатики какой-либо идеи.

— А когда идея побеждает, этих людей называют революционерами.

— А вы что — коммунист?

— Нет.

— А ваша «Серебряная шестерка»?

— Тоже нет. Это были люди молодые, воспитанные на идеях национал-социализма. Кроме Пелле, у нас был Мюке, сын оркестранта, в то время ему было пятнадцать лет, он играл на альте, состоял в гитлерюгенде и был зенитчиком в ПВО. Мюке в то время был прыток как заяц и отличался хладнокровием видавшего виды столичного мальчика.

— Что с ним случилось?

— Исчез. Вероятно, умер.

— А кто возглавлял работу с листовками?

— Вальтер Хайнике, молодой токарь по металлу, у него была броня. Он замечательно играл на своей серебряной трубе. Его соло пользовались большим успехом. Спокойный, рассудительный, он руководил работой с листовками.

— А с ним что случилось?

— Казнен.

— И Пелле тоже?

— Исчез.

— И Ева Ланг тоже?

— Я с тех пор ничего о ней не слышал.

— Значит, в живых остались только вы и Пауль Ридель?

— Насколько я знаю — да.

— А Ридель тоже работал с вами?

— Только первое время. Его несколько раз вызывали в гестапо, после чего он, надо полагать, потерял охоту к листовкам.

М. задумался. Затем последовал основной вопрос. Я понял: он, как старый юрист, был уверен, что в ответе на этот вопрос найдет корень любого дела. Для него тут была подоплека любого преступления, любой жертвы, любой страсти. Он попросту привык в начале всякого рассказа слышать о бездонном взгляде той или иной сирены, а затем отталкиваться от этого фактора. Он принимал тривиальное явление за правило.

— Кто была эта женщина?

Скрывать не было никакого смысла. С тех пор прошло слишком много времени.

— Будьте откровенны, — сказал он. — Дело прошлое. Скажите, вы не замечали, что каждое преступление, каждое действие, совершенное под влиянием аффекта, даже каждый поступок с годами приобретает в наших глазах иное качество? Убийство, случившееся двадцать лет назад, вряд ли кого-нибудь волнует. Все — вопрос времени. Если убитый сгнил в земле — тем самым на земле уже разрешен вопрос о вине и об искуплении. Больше того, каждый умерший умирает вторично в коре нашего головного мозга много лет спустя, истлевает вместе с воспоминаниями. Тут существует некая таин-

ственная параллель. У меня как раз был соответствующий случай. Спустя девятнадцать лет после убийства преступница предстает перед судом с блаженным лицом и отсутствующим взглядом. В данный момент она в провинциальной психиатрической больнице.

— Да, но то уголовное дело.

— Ну, разумеется, разумеется, я ведь говорил только о том, что знаю по опыту, как меняется качество всякого суждения в зависимости от времени. Итак, вы можете спокойно рассказать об этой женщине.

— Звали ее Ева Ланг, она была сестрой милосердия. Сколько-то времени работала в больничной лаборатории, затем ее уволили.

— Почему?

— Не чистокровная арийка. Ее бабушка была недостаточно хороша для тогдашних правителей.

— Но звезду она не носила?

— Нет.

— И Пауль Ридель любил ее?

— Во всяком случае, он всегда ждал ее у выхода и смотрел на нее собачьим преданным взглядом.

— Расскажите о ней подробнее. Как вы с ней познакомились?

### 3

---

#### ТРИ ЧАСА ДЕСЯТЬ МИНУТ

Я вижу, вижу, как она идет в сумерках по улице, она идет по мостовой мне навстречу. Лицо у нее бледное, как и тогда, когда я ее увидел впервые...

Пауль, шедший с ней, поздоровался, и мы остановились. В тот вечер было довольно холодно. Пауль зябко повел плечами и сказал:

— Это сестра Ева, то есть фрейлейн Ланг. Сегодня ее уволили.

Я стоял на улице, и на меня сыпался мелкий дождь с изморозью. Я посмотрел на Еву и спросил:

— Почему?

— В больнице — новая старшая сестра, нацистка, она сейчас же уволила фрейлейн Ланг, она считает недопустимым, чтобы фрейлейн Ланг оставалась на государственной службе.



Ева взглянула на меня. Насмешливо вздернула верхнюю губу и сказала с неподражаемой интонацией:

— Старшая сестра милосердия награждена кровавым орденом\*.

Дико звучащая фраза, я не забыл ее, потому что это была первая фраза, которую я услышал от Евы. Это была фраза, которая могла прозвучать лишь в те времена и лишь в той стране.

Я спросил:

— Вы неарийка?

— Только наполовину.

— Но звезду она не носит, — поспешил заявить Пауль.

— Моя мать была еврейка. Да, я не обязана носить звезду. Я очень рада, что вылетела оттуда.

— Что же вы предполагаете теперь делать, фрейлейн Ланг?

— Пока не знаю. Может быть, торговать по карточкам селедками.

— А нельзя ее устроить к нам? — предложил Пауль.

— К нам?

— Да, она певица.

— Правда?

— О, Пауль преувеличивает. Я пела иногда на вечеринках или в рождественские праздники для больных. О, я не соловей и даже не чижик.

Я рассматривал ее. В ней было что-то от нефритовой статуэтки: миниатюрное бледное личико с чистыми линиями, серые насмешливые глаза — голубино-серые иронические звезды, волосы каштановые, цвета темного меда. Видимо, ей нравилась насмешливая маска, да и что другое оставалось человеку с ее судьбой в те времена? В остальном в ней не было ничего особенного, она не поражала красотой, не внушала и антипатии, девушка с юношески тоненькой фигуркой, с серыми глазами, которые временами странно вспыхивали.

— Может быть, в самом деле вам попробовать поработать с нами? Наше значение для обороны, правда, не так уж велико, но в высших сферах на нас смотрят благосклонно, ибо мы «способствуем поддержанию в населении бодрого и веселого духа».

---

\* Имеется в виду национал-социалистский «орден Крови».

— А у вас можно получить печать на рабочую книжку?

— Вероятно, можно, если вы будете исполнять и секретарские обязанности — так сказать, вашу основную работу. Тогда будет считаться, что вы на штатной должности, ведете наши дела, и вас не привлекут к трудовой повинности.

— Если мне приклепят печать на книжку, я запою, как чайник на огне, и до блеска начищу вам трубы, — сказала она и улыбнулась рассеянной улыбкой, глядя куда-то в пространство, а с неба на нее, на худенькую уволенную «полуарийку», сыпался и сыпался мелкий дождь с изморозью. Лицо ее блестело от растаявших снежинок.

— В таком случае в воскресенье утром обсудим. Мы будем все в сборе.

— Хорошо, — сказала она.

— Пауль расскажет вам, что мы делаем. Мы уже давно собирались обзавестись певицей.

— До воскресенья, — сказала она. И исчезла вместе с Паулем на стемневшей улице, скрылась за завесой кося падающей изморози.

Нет, пожалуйста, не подумайте: ага, старая история, двое мужчин и одна женщина... Ничего подобного. У нее с Паулем ничего не было. Они уже давно были знакомы, вот и все. Уж если говорить вполне откровенно, Пауль приставал к ней с ухаживанием. Это верно. Она мне сама потом говорила. Но Ева сразу же постаралась это пресечь. А Пауль...

Где же Пауль? Где застрял Ридель? На улице никого. Сквозь пелену морозящего дождя виден над крышами домов освещенный циферблат на церкви, стрелки показывают три часа десять минут; я могу разобрать время и на автомобильных часах, светящихся зеленоватым светом. Он запаздывает. Обычно он приезжает на такси что-нибудь около половины третьего. Я-то знаю. Я стою здесь не первую ночь. В половине третьего он выходит из бара и отправляется на такси прямо домой, сюда, где я поджидаю его. Лучше включить мотор и дать ему поработать, чтобы он разогрелся. Потом будет важна каждая секунда. Если мотор заработает не сразу, весь мой план может полететь к черту. Но шум мотора может возбудить подозрение у кого-либо из

соседей, страдающих бессонницей... Я не завожу мотора. Будь что будет. Так лучше. Бодрствующий сосед — большая опасность, хоть он и не очень-то много увидит. Машина темная, и дождь лениво барабанит по кузову. Тогда дождь, тот дождь, сквозь завесу которого появилась она, был другой, он был редкий, как вуаль, и сыпал тоненькими иголочками снежинок...

Когда она стала у нас петь, мы, разумеется, виделись часто. Мы все охотно бывали с ней, нам нравилась ее ирония, и вскоре между нами завязалась скрытая борьба за ее благосклонность. Несколько времени спустя мы уже хорошо знали ее. Насчет войны и тех господ, что так усиленно ратуют за войну, у нее были те же взгляды, что и у нас.

Однажды вечером мы попросили Еву, соблюдая строжайшую тайну, спешно выполнить очень важное и опасное поручение: отнести пакет к церкви св. Николая; там ровно в одиннадцать к ней подъедет велосипедист и спросит, где находится женская ремесленная школа. Ему она должна вручить пакет. Все произошло, как было условлено. Конечно, мы следили за ней. Уже до этого мы несколько раз испытывали ее. Теперь мы были в ней уверены. На следующий день, в воскресенье, во время утренней репетиции Вальтер Хайнике и я позвали ее в соседнюю комнату. Там мы при ней развернули пакет. В нем были только старые газеты.

— Так, значит, вы меня разыграли! — удивленно протянула она.

— Да.

— А зачем?

— Ты выдержала три испытания, ничего не подзревая.

— Ну, если это так легко, я, пожалуй, получу у вас ученую степень.

— Трудности впереди, Ева.

Долго ждать не пришлось. Вот таким образом Ева и стала работать у нас секретарем и принимать участие в нашем оркестре и в группе «Серебряная шестерка». Ее песенки пользовались успехом, хотя завоевала она публику не столько своим чистым голоском, сколько той ясностью, тем теплом, которые излучало все ее существо. В лице у нее было много решимости, а кожа

поразительно чистая, бледная, какая-то лунно-прозрачная. Когда эта изящная, располагающая к себе девушка улыбалась со сцены и пела, публика приходила в восторг. Должен сознаться, что и меня она привлекала все сильнее, очаровывая своими движениями, выражением лица, каким-то застенчивым поворотом головы. Еще до того дня, когда мы вместе пошли ко мне, я был уже всецело в ее власти.

Нет, инициатива исходила не от меня — упаси бог! — от нее. Могу поклясться. И случилось это как-то само собой.

Мы шли ночью вдвоем по затемненным улицам, она жила недалеко, ночной автобус приходил позже, а ночь была теплая, июньская. Мы шли мимо какой-то пивнушки с садиком, благоухающим сиренью, и я знал, что каждый порядочный мужчина нашел бы те нужные слова и действия, которые так часто порождают любовь или ненависть между мужчиной и женщиной. Я не сказал таких слов. Я сказал:

— Надо надеяться, что тревоги не будет.

И она сказала:

— Предупреждения не было.

— Вас прежде провожал всегда Пауль?

— Да, — ответила она и остановилась, и лунный блик лег на ее неподвижное прозрачно-бледное лицо. И казалось, что она стоит здесь, как стоят бесчисленные женщины в бесчисленные вечера, подняв лицо к мужчине, любимые и любящие, прощающиеся, расстающиеся, плачущие и смеющиеся женщины. Казалось, что в эту минуту именно в этой женщине воплотилось самообладание и чарующее превосходство этих женщин в целом мире — такая красивая стояла она в лунном свете, бледная, большеглазая, оваянная летним ветром, и тут она сказала одну из тех обычных фраз, которые шепчут повсюду в лунные ночи.

Я уже не помню точно, что она сказала; может быть, она сказала:

— С вами мне лучше...

Это обрадовало меня. Пока человек молод и, провожая девушку ночью, вдыхает аромат сирени, и вот-вот может начаться тревога, и липы будут цвести еще только четыре часа, а затем вместо темных фасадов домов запылают стены огня, — пока человек молод,

от такого признания, что бы ни творилось вокруг, у него сильнее забьется сердце.

— С вами мне лучше...

И это все. Ни поцелуя, ни прикосновения руки к волосам, ни глубокого, как ночь, взгляда, ни томного вздоха — простое признание. Но я услышал не нежный шепот девушки, нет, скорее звук виолы да-гамба, вызвавший во мне радость наперекор всему. Больше мы ничего не сказали до того мгновения, пока не завывли сирены. Этой ночью был особенно массированный налет. Бомбы с противным визгом летели на землю. Верхние этажи проваливались в нижние, сотни людей захлебывались в затопленных подвалах, сотни людей были засыпаны, а на следующий вечер мы проходили мимо пивнушки и опять вдыхали благоухание сирени. Но обуглившись липы уже больше не благоухали. И однажды вечером мы прильнули друг к другу так, словно встретились после долгого скитания по бесконечной пустыне, изнемогли от жажды и теперь пили.

А затем пришло чувство тепла и уюта, дарящее влюбленному юноше родной дом. Он чувствует себя вдвое сильнее, господи боже мой, может, это и в самом деле так, пока длится любовь, а главное — он жаждет того тепла, которое он искал и которое положит в основу родного дома.

Короче говоря, мы сблизились, как сблизаются молодые люди повсюду на свете. Сегодня любишь... А завтра может быть налет и конец. Мы не строили себе никаких иллюзий, мы слишком часто помогали закапывать обуглившись отцов, черных и маленьких, как дети, или упаковывать в оберточную бумагу превращенных в пепел матерей, или выносить в бельевых корзинах остатки неизвестных нам семей.

— Да, был один человек, — сказала она, когда я как-то спросил ее об этом. — Несколько лет назад, перед самой войной. Ему шел двадцать второй год, он был очень красивый. Лето тогда выдалось жаркое, помнишь?

— Ты любила его?

— Что за странный вопрос?

— Почему странный?

— Так спрашивали наши дедушки и бабушки.

— А сейчас?

— Какие громкие слова... Он мне нравился. Вот и все.

— Что с ним случилось?

— Он каждый день приходил к нашему дому и насвистывал арию Папагено из «Волшебной флейты». Он хотел быть со мной все дни, с утра до вечера. Ему все было мало. Он знал, что его призовут. И боялся. Он думал, что, если попадет в солдаты, больше меня никогда не увидит. Я смеялась над ним.

— А затем?

— Как-то вечером он опять насвистывал перед нашим домом. Он получил повестку с предложением явиться на следующее утро на призывной пункт. Мы с ним ходили по бульвару туда и обратно, туда и обратно. Был томительно душный вечер. Потом мы дошли до конца бульвара, до берега реки, где растет ивняк. Мы сели рядом на песок. В этот вечер он хотел от меня того, чего все юноши хотят от своих девушек. Я противилась. Мне было страшно. Я сказала, чтобы он сейчас не настаивал, но что я хочу всю жизнь быть вместе с ним. Он спросил, правда ли это, буду ли я ему верна, даже если он возвратится не скоро — может быть, даже не возвратится совсем. Он ревновал к тем, которые могли пережить его. Я была молода и глупа. Я обещала ему. Нет, этого мало, я должна поклясться. Я подняла руку и повторила за ним слова клятвы. Я хотела убедить его, что, если я ему отказываю, это не значит, что я не люблю его. Я думала только о нем, и боялась за него, и хотела, чтобы ему было хорошо. Я знаю, это романтика и это усложняет жизнь, но я поклялась, я еще и сейчас вижу по ночам его лицо совсем рядом с моим, вижу, с каким облегчением он вздохнул, когда я поклялась.

Мы оба были уверены, что в эти минуты решила наша судьба, что это вроде обручения, как говорили в старину. Ты не должен смеяться, Дан. Я тоже тогда не смеялась. Вскоре он попал в авиадесантные войска. Он прислал мне несколько открыток полевой почтой. Но больше я не получила от него ни строчки. Лейтенант написал, что пули настигли его в воздухе и он не страдал. Я сдержала свою клятву... А теперь я ее нарушила.

- Твоя клятва не имеет никакого значения.
  - Почему?
  - Потому что вы были еще дети.
  - Иногда я сижу у окна, смотрю на улицу и так напряженно о нем думаю, что он встает за окном.
  - Теперь ты рассказала мне все. Это хорошо.
- Я был очень рад, что она мне это рассказала. Теперь у нас была как бы общая тайна.

Вскоре всем в оркестре стало ясно, что мы с Евой принадлежим друг другу, и все отнеслись бережно к нашему чувству.

Только наш веснушчатый бедовый Мюке иногда скептически косился на нас. Он был худенький и маленький и работал в столярной мастерской оперного театра. Так сказать, одной прислужгой, потому что рабочих рук не хватало. Мюке делал все. Он постоянно острил. Только в одном вопросе он не допускал шуток — в вопросе о войне. Он был одним из наших самых ловких и надежных помощников. Ева называла его «скрипочкой», и поразительное дело: стоило ему заиграть адажио, и озорная искорка исчезала из его глаз. Тогда на его худом мальчишеском лице появлялся налет удивления.

Пелле был совсем другой. Пелле хромал после ранения, полученного в Польше. Ему повредило ногу, и часто у него бывали сильные боли. Лицо у Пелле было сухое, костлявое, сам он казался замкнутым, даже угрюмым. В нем жила неукротимая ненависть к военной машине и к опозорившему себя своими деяниями режиму. Он играл на ударных инструментах и был на все руки мастер. Он мог вспылить, в спорах легко возбуждался, не уступал и был готов в любой момент, не щадя себя, защищать правое дело.

Вальтеру, возглавлявшему нашу тайную организацию, приходилось время от времени осаживать его. Чаще всего просто сухим замечанием, которое обычно оказывало свое действие. Вальтер был из нас самый сильный. Мысли у него были простые и ясные, и ничем нельзя было вывести его из равновесия. Вальтер играл на волторне и саксофоне, а днем работал токарем по металлу, то есть в одной из тех специальностей, где

требуется особенно тонкое мастерство и сообразительность. Вальтер принадлежал к категории людей, которые всех к себе привлекают. Он был широк в плечах, а лицо у него было худое и доброе, девушки заглядывались на него. Вальтер был невысок ростом, стригся под гребенку, и в облике его было что-то от аскетического спортсмена. Он умел замечательно слушать и говорил только в том случае, если у него уже сложилось собственное мнение.

Вот они трое, да еще Ева, я и Пауль Ридель и составляли ту группу сопротивления, которая называлась «Серебряной шестеркой» по имени нашего эстрадного оркестра. Но для меня Ева скоро стала ядром и душой группы, хотя она только недавно примкнула к нам.

Ева время от времени навещала одну пожилую даму, которая носила желтую звезду. С желтой звездой на груди ходили евреи, которых пока оставили на свободе. Этих беспомощных людей преследовали обдуманно, с бесчеловечной методичностью. Сперва у них отбирали телефон, потом радиоприемник, потом домашних животных — собаку, кошку или чижика, вслед за тем столовое серебро, драгоценности, книги. Все тщательно конфисковалось и выдавались квитанции. Под конец реквизировались все комнаты в квартире, кроме одной — «еврейской комнаты». В квартиру въезжали новые жильцы и удивлялись, что там живут евреи. А в заключение приходила повестка, предлагавшая явиться на следующий день туда-то и туда-то, где составлялась партия для отправки. Багаж разрешалось взять с собой, но не больше того, что можешь унести на себе. Отправляли их в гетто или в концлагерь, а оттуда на смерть.

Фрау Хеншке, та, что носила звезду, была прямая и умная женщина и работала старшей сестрой в еврейской больнице. Она была вдовой врача и в свое время членом магистрата от демократической партии.

Однажды Ева рассказала нам, какие тягостные минуты пережила она на днях у фрау Хеншке за чашкой чая. Мейсенский чайный сервиз был изъят, серебряная сахарница тоже. Обе женщины сидели перед пустыми книжными полками. Фрау Хеншке сообщила, что неожиданно в город приехала целая группа их товарищей по несчастью — евреев из соседнего городка, которые успели скрыться незадолго до получения



повестки. Они тайком прибыли в столицу и поселились у друзей, не отметившись в полиции. Они уничтожили свои документы и спорили звезду. Некоторые отметились как эвакуированные или разбомбленные. Кое-кому это сошло с рук, так как в ту пору у многих бумаги были потеряны под обвалившимися зданиями и это затрудняло проверку.

Другие ютились в подвалах и на чердаках, совсем не выходили на улицу и очень голодали. Для всех беженцев основным вопросом была пища, если, конечно, не говорить об убежище. Правда, кое-кто из сограждан уделял им часть своих скудных продуктов, но этого было слишком мало. Слишком много было тех, кому приходилось уделять.

И того, что получали больные в еврейской больнице, тоже было слишком мало. Фрау Хеншке говорила, что они засыпают от истощения. Все больше и больше людей опухало от голода. Продукты выдавались только по карточкам, а евреям полагался весьма скудный паек.

Теперь из-за тайно прибывших двенадцати беженцев нужда стала особенно острой. Они могли умереть с голоду. Положение было отчаянное. Один уже покончил с собой. Но заявить о его смерти нельзя, это грозит большой опасностью семье, приютившей его. Покойник уже две недели лежит на чердаке. Каждый день во время налета его могут обнаружить. Ева рассказала об этом нам. Она была очень взволнована.

— Им надо помочь, — сказала она.

Мы долго раскидывали умом и так и сяк, и наконец Вальтер сказал:

— Если у них не хватает продуктовых карточек, мы должны раздобыть им карточки.

— А как?

— Ну, где-то ведь карточки хранятся. И где-то их печатают.

— Они хранятся в отделах снабжения, — заметил Пауль.

— Это верно, да только в несгораемых шкафах, — возразил я.

— Значит, надо попытаться в типографии, — сказала Ева.

— Попробуем разузнать, в каких типографиях печатаются карточки.

Мы отыскивали такую типографию.

Затем нам надо было выяснить внутренний план типографии, место, где лежат отпечатанные продуктовые карточки, и как запираются двери.

И вот как-то Вальтер отвел меня в сторону: он не любил давать задания так, чтобы это знали другие члены группы.

— Тебе надо познакомиться с кем-нибудь из типографских рабочих, лучше бы с пожилым человеком. Среди них меньше фанатиков, чем среди молодежи. Можешь позвать его как-нибудь на кружку пива.

Я позвонил в типографию, и под тем предлогом, что «статистическому бюро управления уличным движением» требуется установить, насколько загружена проходящая мимо них трамвайная линия, узнал часы их смен. При этом выяснилось, что в типографии работает четырнадцать мужчин и семь женщин.

— А ночная смена? — спросил я.

— Отменена из-за налетов, — ответили мне. — Работа распределена между двумя дневными сменами.

Я поблагодарил и повесил трубку.

Вечером, в шесть часов, рабочие выходили через железные решетчатые ворота. Почти все — пожилые мужчины, и только несколько женщин. Они расходились молча. Видно было, что они устали. Кое-кого поджидали жены, бледные, исхудавшие; они болтали, стоя в кучке, двое детей побежали навстречу матери, выходящей из ворот. Пустой двор за воротами и покрашенные синим окна склада около них являли собой печальную картину распадающегося мира, функционирующей пустоты, в которой уже поселилось серое холодное безвременье.

Я высмотрел пожилого человека, который возвращался с работы один. Я обогнал его в переулке. Он шел медленно, не глядя по сторонам. Под мышкой я нес в бумаге три копченые селедки, полученные по дополнительному талону и нарочно плохо завернутые, так чтобы сверток мог легко раскрыться. Обгоняя его, я выронил одну селедку на тротуар. И сделал вид, что не заметил.

Если бы он поднял селедку и не окликнул меня, я бы, пройдя несколько шагов, обернулся и изобразил на лице удивление, словно только сейчас заметил потерю.

Но он оказался честным человеком. Он окликнул меня:

— Эй, послушайте!

Я обернулся. Он поднял селедку и спросил:

— Ваша рыбина?

Я вытаращил глаза:

— Как она очутилась у вас?.. Уж не я ли ее...

— Ну, конечно, вы обронили. Эх, вкусная, должно быть, голубушка, а?

Меня удивил его неожиданно низкий голос. Я улыбнулся ему. Мы оба остановились. Он тоже засмеялся. Лицо у него было доброе; на носу сидели очки в медной оправе, тонкую морщинистую шею венчала костлявая птичья головка.

— Что же вы хотите получить в награду за находку?

— Рыбью голову для моей Мурлышки.

— Это ваша кошка?

— Ну, конечно; красивая, трехцветная.

Мы прошли вместе несколько шагов и опять остановились. Я развернул бумагу, и он положил туда селедку. Он смотрел на нее с вожделением.

— Селедочки что надо. Верно, трофейные, а?

Я медлил и не завертывал селедки.

— Знаете что? Оставьте себе. Вы ведь ее нашли. Я бы только дома заметил, что она выскользнула.

— Вы не шутите? — Сквозь очки он окинул меня недоверчивым взглядом.

— Берите, берите.

Он вынул селедку из бумаги. Я дал ему газету. Он завернул селедку и сунул стоймя в карман пиджака. Мы пошли дальше. Он что-то обдумывал. На углу перед пивнушкой он остановился.

— Я пропущу здесь стаканчик.

— До свиданья.

— Может, и вы за компанию выпьете?

— Ничего не имею против.

Мы стояли у стойки. Он пошептался с хозяином, и тот пододвинул ему прикрытую стопку водки. Он разом опорожнил стопку, запрокинув назад свою седую птичью голову, словно разглядывал потолок. Потом крякнул и поднял кружку пива:

— За ваше здоровье.

— И за ваше. — Мы не спеша тянули пиво и молчали.

— У вас что — свободный вечер сегодня?

— Да. Черт его знает, как ползет время.

— Дайте-ка я попробую угадать, кем вы работаете.

— Валяйте.

— Слесарь?

— Не-е.

— Наборщик?

— Угадали. Еще кружку!

— А где вы работаете?

— «Винклер и сын» — вот как наша лавочка называется, два квартала отсюда.

— А, знаю. Типография. Разве сейчас еще печатают книги?

— Не-е, так, печатаем всякую всячину.

— Ага, газеты.

— Не-е, карточки. Продуктовые карточки.

— Да, тепленькое у вас местечко.

И вдруг на меня уставились два хищных птичьих глаза, внимательные, зоркие и, как мне показалось, очень недоверчивые.

— Скажете тоже. Тут все на счету. Даже самый что ни на есть маленький талончик на табак не уведешь, ни-ни.

Он приблизил ко мне свою птичью голову. Лукаво посмотрел через очки.

— Тут ничем не поживишься, все сосчитано, сложено в пачки и сдано под расписку. Все равно как деньги.

Для начала этого было довольно. Я переменял тему разговора. Узнал, что он женат, что у него есть аквариум и что он любит играть в скат.

— Жалко, что у нас нет третьего партнера, — сказал я.

— Да, мой партнер лежит в больнице Сердца Иисова. Заражение крови. Порезался отлитой строкой.

Я рассказал ему о нашем оркестре. Может быть, он заглянет завтра вечером в наш ресторан? Там и в скат сыграть можно будет. Что ж, он не прочь.

На следующий вечер он сидел с женой в саду нашего ресторана и пил пиво кружку за кружкой. У нас

было еще время, мы пригласили его, сыграли с ним в скат. Звали его Рихард Ян; в ближайший вечер мы получили много сведений о типографии. Мы подсаживались к его столу по очереди. Первым подошел Вальтер. Они расспрашивали друг друга о работе и зарплате, а потом Вальтер, как бы невзначай, задал еще несколько вопросов. Потом он сыграл в скат с Рихардом Яном и со мной. Спустя некоторое время подошел Пелле. И все повторилось. Они познакомились и поговорили каждый о своей профессии. Потом появилась Ева и под конец — Мюке. Когда пора было идти на эстраду, мы оставили его вдвоем с женой. В антракте мы опять подсадились к их столу. Они были в восторге.

— Да вы играете что надо. Первый сорт. Правда, правда, нам очень нравится. Верно, Герта?

И несловоохотливая Герта, у которой блестели от удовольствия глаза, закивала головой. Мы заметили, что недоверие их заметно поубавилось.

Позднее, когда Рихард с женой ушли, мы сопоставили все выуженные нами сведения и таким образом получили более или менее ясную картину. В один из ближайших вечеров мы опять сидели за столиком с Рихардом Яном и его пышнотелой половиной и рассказывали об ограблении одной типографии, где тоже печатались карточки, о котором мы будто слышали.

— У нас такого случиться не может, — заметил он.

— А почему?

Мы с напряженным вниманием смотрели на него. Был душный летний вечер. В воздухе ни дуновения. В саду сидело не много людей.

— Потому что у нас собака, полицейская, она во-о какая чуткая.

Он лукаво подмигнул нам и склонил немного на плечо свою птичью головку. У меня мелькнула мысль, что он догадался о нашем плане: как-то уж очень странно он реагировал на наш разговор. А что, если он осведомитель? А что, если он понял, что наши безразличные вопросы все бьют в одну точку? Или он ничего не подозревает? У него были какие-то необычайно пронзительные ястребиные глаза с светлым ободком вокруг зрачка.

Вальтер сидел против него, широкоплечий, невозмутимый; он презрительно бросил:

— Ну, с собакой-то взломщик-профессионал всегда справится.

— Да нет у нас никакой собаки.

— Как же так?

— Собаку три дня назад отдали в полицию.

Он рассмеялся нам в лицо и при этом не спускал с нас глаз. Что это могло значить? Издевается он над нами? Или он сыщик и чувствует, что здесь можно что-то выведать? Принимает ли он нас за коллег? Ведет ли с нами игру? Но в таком случае какую?

— Вы же сами сказали, что там есть собака.

— Да, раньше была.

Я рассмеялся, точно он сострил.

— Нам с вами везет на животных: сначала была селедка, теперь собака.

Мюке сморщил свое мальчишеское веснушчатое лицо и сказал:

— Но собаку нельзя съесть.

— Ого! Еще как можно!

— Рагу из пуделя — да это просто пальчики оближешь! — крикнул Мюке, и мы все расхохотались.

Когда Ян с женой ушли, мы держали совет. Мюке было поручено этой же ночью выяснить, есть ли у ночного сторожа собака. Мюке играючи выполнил задание. Он был прирожденный разведчик, и ему всегда везло, такой он был хитрец и ловкач. На следующее утро мы увиделись с ним.

— Собаки там нет, — сообщил он, придя на репетицию. Вальтер, Пелле и я начали репетировать Фламенго и совещаться вполголоса. Пелле взялся принести необходимые инструменты. Кроме всего прочего, нам нужна была веревка.

За час до того, как мы проникнем в типографию, Мюке должен был еще раз удостовериться, что и этой ночью там нет собаки. Рихард Ян посеял в нас сомнения.

Мы уже знали, что в типографский подвал каждую среду складываются тысячи карточек, что в ночных сторожах служит сонный инвалид и что на дверях прочные запоры.

И вот, когда все у нас было подготовлено, Вальтер, Пелле и я отправились к типографии. Она находилась в северном пригороде, около какого-то склада, над

каменной оградой которого виднелись призрачные силуэты двух грузовиков.

Когда мы подошли ближе, с нами поравнялся Мюке. Он покачал головой и, как было условлено, прошел мимо и исчез в темноте. Мы надели перчатки.

Сама типография помещалась во дворе и представляла собой низкое прямоугольное здание, стоявшее особняком и окруженное стеной. В одном крыле находился наборный цех и контора, в другом — печатный цех. Мы начертили точный план.

Ночь была темная, с молодым месяцем. Мы перелезли через стену и приставили к ней со стороны двора ящик, чтобы в случае неожиданной опасности беспрепятственно перемахнуть через нее на улицу. Пелле принес пакетик с толченым мелом и насыпал на земле белую дорожку до самого ящика, чтобы мы могли найти его и в темноте. Нам видна была у ворот проходная из которой просачивался слабый свет синей лампочки. Должно быть, сторож заснул — вокруг было до ужаса тихо.

Время для краж со взломом было тогда мало благоприятное. Большинство профессиональных преступников сидело в тюрьме. За взлом или кражу во время затемнения полагалась смертная казнь, а сейчас было затемнение.

Нас интересовали окна на скатах типографской крыши, крытой толем. Добраться до крыши было нетрудно. Мы шепотом договорились, что Вальтер будет лежать на крыше и наблюдать за сторожем, а в случае опасности справиться с ним. Возможно также, что придется перерезать телефонный провод. Из всей нашей компании Вальтер был самый сильный. Он должен был предупредить нас об опасности, бросив камешки в одно из чердачных окон. Он лег на краю крыши, откуда лучше всего были видны ворота, улица и проходная, а мы бесшумно пробрались к одному из чердачных окон. Пелле взял с собой необходимый инструмент. Я подполз к нему и вытащил карманный фонарик. Но он шепнул — Не свети!

Я видел его тускло поблескивающие глаза, слышал его дыхание. Вокруг подымались дома и развалины и стояла такая тишина, словно на земле никогда не было жизни. В военной тюрьме Пелле не зря прислушивался

к рассказам профессиональных преступников, когда они делились друг с другом разными своими приемами. Он перекусил специальными щипцами железную решетку на одном из окон и вынул железные прутья, затем мы выколупали ножами замазку, которой были укреплены в металлических рамах покрашенные синим стекла. Работали мы долго. Одно стекло разбилось. Было слышно, как падают вниз осколки. Мы притихли, боясь дыхнуть, и бесконечно долго лежали притаившись, но все было по-прежнему тихо.

Тогда Пелле возобновил работу. В конце концов ему удалось вынуть из рамы все осколки. Он просунул руку, нашупал шпингалет и медленно открыл окно. Раздался такой скрежет, словно петли вконец проржавели. Пелле стал осторожно отводить раму назад, пока она не легла горизонтально. Я вынул веревку, на которой были навязаны узлы, а на конце имелся крюк. Мы укрепили его за подоконник, спустили веревку, и Пелле влез в окно. Он исчез в темноте и по веревке соскользнул вниз. Немного спустя внизу три раза вспыхнул электрический фонарик. Три раза означало — спускайся. Два раза означало — оставайся на месте. Я спустился по веревке и очутился в темном печатном цехе. Ко мне приближался тоненький луч света. Пелле, ни разу не загремев, принес стол и водрузил на него стул, чтобы мы в случае опасности легко могли ударить.

Потом мы стали искать кладовую. Пелле прикрыл фонарик носовым платком, так что свет чуть просачивался. В темном помещении явственно слышалось наше дыхание.

Мы нашли две двери. Одна, должно быть, вела во двор, другая — в кладовую. Мы осмотрели ее. Обычная деревянная дверь, но с автоматическим замком. Мы не были профессионалами. Отпереть автоматический замок мы не умели.

Пелле вытащил из своего узелка специальную электрическую пилу с удлинителем.

— Отыщи штепсель, — шепнул он, и я пошел вдоль помещения, освещая стены. Наконец я нашел штепсель. Но когда мы захотели воткнуть вилку, выяснилось, что провод короток.

— Нужно еще удлинить, — шепнул Пелле. Я обнаружил настольную лампочку с довольно длинным шну-



ром, но он был крепко приделан к лампе. Пробираясь ощупью в темноте, я принес лампу вместе с проводом к Пелле. Он осветил провод. Я видел его золотистую шевелюру, освещенную фонариком.

— Черт бы его драл! — выругался он.

Он отрезал своим ножом провод от лампы. Затем отрезал от первого удлинителя вилку, отогнул с обоих концов пластмассовую изоляцию и соединил оба провода. Теперь получился провод нужной длины. Я услышал его шепот:

— Держи вот здесь, где стык, так, чтобы он ничего не касался, и твоих пальцев тоже. Не то получится короткое замыкание, а то и несчастье, понял?

Он повернул ко мне слабо освещенное лицо. Глаза у него были узкие и очень светлые.

Я кивнул и приподнял провод. Пелле исчез, чтобы сунуть вилку в штепсель. Вернувшись, он взял электрическую пилу и ощупал левой рукой дверь. В дверь были вделаны четыре филенки из более тонкой доски. Пила заработала, задвигалась быстро-быстро, зажужжала. Будто какой-то зверек грыз дерево. Спустя немного Пелле вынул филенку. Пила умолкла. Он осветил в отверстие и удовлетворенно кивнул головой.

— Вытаскивай! — шепнул он. Не отпуская соединения, я ощупью добрался по проводу до штепселя и вытащил вилку.

Пелле уже разобрал и спрятал к себе в портфель пилу. Я первый пролез в отверстие. Оно, правда, было узкое, но ничего. Следом за мной Пелле. Мы спустились в подвал.

Пелле обследовал стены. Окон здесь не было, и поэтому в первый раз за все время он осветил помещение, не прикрывая фонарика, — складское помещение, где были сложены инструменты, детали машин и запасы бумаги. У стены стояло несколько шкафов казарменного типа, старых и грязных. Они были заперты. Ключей не оказалось. Я схватил плоскую железку, что-то вроде зубила, но работать как следует не мог, так как был в кожаных перчатках. В конце концов замок был взломан.

Мы вздохнули с облегчением.

Перед нами аккуратными стопками лежали тысячи продуктовых карточек. Мы взяли из каждой стопки верхние и при свете электрического фонарика, близко

сдвинув головы, удостоверились в их годности и в сроке действия. У самого своего лица я видел тускло освещенное лицо Пелле, его отливающую металлом шевелюру. Взгляд у него был сосредоточенный, он внимательно изучал карточки. Мы выбрали пачку обычных продуктовых карточек и пачку карточек для курильщиков. Мы набили карманы, оставили шкаф открытым и вернулись к лестнице. Пелле остановился и шепнул:

— Подожди!

Он опять пошел к шкафу. Мне его почти не было слышно. Но я догадался, что он взял еще одну пачку из шкафа.

Он пошел с ней к столу у другой стены подвала — там вспыхнул его фонарик. Спустя немного Пелле очутился около меня. Он нес пачку, крепко перевязанную шнурком.

— Самое главное мы чуть не забыли.

— Что?

— Рейсовые талоны.

— Идем!

Я пошел вперед и светил моим карманным фонариком через носовой платок, как раньше делал он.

Перед отверстием в двери я стал на колени и выглянул. В лицо мне пахнул холодный воздух печатного цеха. Если вооруженный сторож стоит за дверью, мы пропали. Я протиснулся в отверстие, мы снова были в печатном цехе. Пелле просунул вперед пачку карточек и пролез вслед за мной. Я открыл портфель, и Пелле положил туда продуктовые карточки. Но несколько пачек не влезло, и мы рассовали их по карманам.

Я как раз собирался обернуться и осветить Пелле, как вдруг мы услышали какой-то крик.

Мы вздрогнули.

Кричал не человек. Кричала сирена. Воздушная тревога!

Пелле выругался. Мы побежали через печатный цех. Надо было спешить, не то мы застряли бы на территории типографии до рассвета. Кроме того, при воздушной тревоге все просыпаются и бегут в бомбоубежища. Да еще дежурные противовоздушной обороны и полиция контролируют улицы. Нам до зарезу нужно было вовремя удрать. А вовремя — это значило: не теряя ни минуты.

Я вскочил на стол, подтянулся на веревке и помог Пелле, который вслед за мной вылез на крышу. Я втащил веревку и взял ее с собой. Вальтера на крыше не было. В домах напротив зажегся тусклый синий свет. Мы спустились с крыши и побежали по меловой дорожке к ящику у ограды. Сирены все еще завывали.

Вальтера нигде не было видно.

Я проскользнул обратно к типографии. Вой сирен прекратился, но вдали забухала зенитка. Вблизи и вдали собаки подняли испуганный лай. Дверь в проходной открылась, появился ночной сторож. Он проснулся и, как видно, хотел до налета сделать обход. У него был затемненный, но сильный электрический фонарик, которым он стал водить по строениям. Вдруг я увидел Вальтера, который стоял наготове за углом каменного сарая. Казалось, он ждал минуты, чтобы кинуться на сторожа и выручить нас. Но это могло погубить все дело. Я бросился к сараю. Зенитные орудия заглушали шум моих шагов. Сторож подошел ближе. Он внимательно светил перед собой. Я замер. Я не смел шевельнуться, иначе я привлек бы его внимание. Кто из нас опередит, он или я? Достаточно, чтобы сторож случайно осветил фонарем в мою сторону, и он увидит меня. Он приближался к тому месту, где спрятался Вальтер. Оставалось всего несколько метров, но тут совсем близко заговорило скорострельное орудие. Я бросился к Вальтеру и хлопнул его по плечу. Он разом обернулся. Я предостерегающе поднес палец к губам и замер. Он понял. Мы притаились.

Сторож прошел мимо. Когда он завернул за угол типографии, колеблющийся луч света потонул в темноте. Опасность миновала. Под грохот орудий мы добежали до белой черты, где ждал Пелле, который сейчас же махнул на стену, чтобы держать под наблюдением улицу. Какое-то мгновение он сидел на стене в тусклом свете блуждавших по небу прожекторов. Затем он исчез за оградой. Мы по очереди проделали то же, предварительно перебросив через ограду сумку с инструментами и набитый карточками портфель.

Мы быстро пошли по улице. Вальтер, почти на бегу, схватил портфель с нашей добычей. Он оставил нас и перешел на другую сторону. Мы шли за ним, стараясь делать это незаметно, и держались поблизости, чтобы

охранять его и в случае опасности быть под рукой. Я нес сумку с инструментами.

До оперного театра было не очень далеко. Мы договорились, что Мюке откроет дверь служебного входа на сцену и в случае тревоги мы шмыгнем туда. В театре нас должна была дожидаться Ева, чтобы взять карточки. Наши шаги гулко отдавались в пустых улицах. Зенитки успокоились. После воя сирен снова наступает тишина, но тишина напряженная, и эти минуты перед самым налетом всегда бывают особенно жуткими. В какой дом попадет бомба, кто из нас будет убит или засыпан? Казалось, что большой темный город испугался, присмирел, казалось, что нарастающая опасность, летящая к нам по ночному небу, требует тишины.

Мы как раз добежали до театра, но тут нас попытались задержать, растопырив руки, взволнованный дежурный противовоздушной обороны.

— Стой! Сюю же минуту в бомбоубежище! — крикнул он. На голове у него был стальной шлем, он погнался за нами. Мы не ответили и побежали через площадь Оперы.

— Я заявлю о вас! Это саботаж! — крикнул он в ярости.

— Мы в театр спешим, приятель! — крикнули мы, добежав до нужной нам железной дверки. Она была только притворена. Мы устремились к ней. Мюке, который в этот вечер не был занят в частях ПВО, стоял в маленьком, почти совсем темном вестибюле и прежде всего взял от меня сумку с инструментами, принадлежавшими театру. Мы не могли отдышаться после быстрого бега.

— Вы оба оставайтесь здесь, — сказал он Вальтеру и Пелле. — Даниэль отнесет портфель Еве, хорошо? — Мы кивнули в знак согласия, и Мюке повел меня какими-то коридорами к сцене. — Осторожно! — предупредил Мюке и оглянулся. — Репетируют освещение! — По огромной сцене ходили несколько рабочих. Из зрительного зала раздался барственный басок:

— А теперь отойдите от стола к окну налево. Оставайтесь там. Куттнер!

Откуда-то сверху донесся угодливый голос:

— Я здесь.

Снизу опять послышался голос главного режиссера.

— Куттнер, у окна, по-моему, маловато. Медленно, совсем медленно включите правый софит...

В зрительном зале наверху справа загорелся прожектор. Он осветил декорацию у окна, где, щурясь от света, стоял в неестественной балетной позе молодой помощник режиссера.

— Теперь хорошо, Куттнер. Запишите!

Человек в коричневой форме, осторожно ступая, пересек сцену. Приложив руку козырьком к глазам и прищурясь, он оглядел зрительный зал.

— Господин режиссер, — крикнул он. — Пора в бомбоубежище.

— А, чепуха! Успеется, когда бухать начнут, — слышался снизу все тот же нетерпеливый барственный голос.

Человек в форменной одежде пожал плечами, повернулся, вытянулся по-военному и приказал:

— Все, без кого господин режиссер может обойтись на осветительной репетиции, — в бомбоубежище!

— Вы рехнулись, приятель! — раздался из партера голос, дышащий яростью, как огнемет огнем. — Совсем, видно, рехнулись, мои приказания отменяете! — Теперь это уже рычал лев на поджавшую хвост собаку. — Какого черта вы здесь распоряжаетесь? Здесь распоряжаюсь я, понятно? Вы срываете работу! Сию же минуту уйдите со сцены, или я пожалуюсь на вас гаулейтеру! Мы спустимся в бомбоубежище, когда начнется бомбежка, ясно? Но сейчас до этого еще не дошло, понятно? Не дошло!

— Извините, господин режиссер, я только выполнил свой долг.

— Чепуха! Вы паникуете из-за летчиков, посланных этими плутократами. Возьмите себя в руки, господа, немецкие зенитки лучшие в мире. Мы можем на них положиться. Или здесь кто-нибудь иного мнения? Продолжаем репетицию. Куттнер!.. Куда он пропал? Куттнер! Куттнер, почему вы не отзываетесь?

На побледневших лицах рабочих сцены были написаны страх и смущение: главный режиссер обычно вычеркивал из списка получивших броню по работе того, кто был ему не угоден или взят на заметку. А кто

был вычеркнут из списка, того на следующий же день забирали в солдаты. «Героеуловитель» действовал безотказно и хватал для фронта всякого разбронированного. Мюке рассказывал об одном служащем в конторе театра, который чем-то не угодил однажды главному режиссеру. Через двадцать четыре часа он был призван. Спустя несколько месяцев его фамилия упоминалась в одном из многочисленных списков газеты «Фелькишер беобахтер». Семья «с прискорбием и гордостью» извещала, что он погиб «геройской смертью за фюрера и рейх».

Из зрительного зала неслись безудержные крики:

— Куттнер! Куда он делся?

По сцене, задыхаясь, мчался человек в сером халате. Его очки сверкали. Он поднялся в ложу осветителя и крикнул:

— Я здесь, господин режиссер. Сю минуту все будет в порядке, господин режиссер.

— Давно пора... — смилостивившись, проворчал в партере лев. — Репетировать будем до утра. Так и зарубите себе на носу. Здесь не санаторий, здесь фронт, понятно?

— Так точно, господин режиссер!

В эту минуту началась стрельба из зениток. На сцене произошло некоторое замешательство.

— Кончайте репетировать! В бомбоубежище! Марш! — крикнул режиссер. Он поднялся, вместе со своими помощниками проследовал вдоль ряда и с другой стороны подошел к выходу. Мюке подтолкнул меня на железную лесенку, которая через несколько дверей привела нас вниз, в пустое фойе зрительного зала. Мы поспешили по устланной ковром лестнице в первый ярус. Мюке открыл дверь ложи. Зенитки на улице опять замолчали.

— Положи портфель под третье кресло, — шепнул он и исчез.

Я стоял почти в полной темноте. Внизу была пустая сцена, тускло освещенная дежурной лампочкой. Я стоял в ложе. Неожиданно наступила тишина, поразительная тишина. Вдруг я услышал какой-то звук совсем рядом. Чуть слышное тиканье. Это могли быть лишь часы, наручные часы. Вероятно, где-то очень близко стоял человек, где-то совсем рядом. Что это — опасность?

Тиканье приблизилось. Я уловил легкое дыхание. Чья-то рука коснулась моей. Я вздрогнул и попытался разглядеть, кто был в ложе, кроме меня.

— Дан...

— Ева!

— Дай мне портфель, — прошептала она.

Я протянул портфель, но прошло несколько секунд, раньше чем Евины пальцы нащупали его. Тут я вспомнил об электрическом фонарике. Я нагнулся и осветил прикрытым фонариком под кресло номер три. Найти его было нетрудно. Под сиденьем была прибита тонкая дощечка, на которой вполне мог уместиться портфель. С боков доску прикрывали планки, обитые той же красной материей, что и сиденье. Даже если нагнуть кресло, портфель не выскользнет. Тайник был довольно надежный. Я спрятал портфель.

— Идем в соседнюю ложу, — шепнула Ева.

— Зачем?

— Не надо оставаться там, где портфель. Если нас кто-нибудь заметит и возникнет подозрение, мы не ведем на след.

Мы на цыпочках пробрались в соседнюю ложу, и я приставил стул к двери, чтобы ее было не так легко открыть. Наконец мы могли передохнуть. Мы сидели в ложе, перед нами был огромный пустой зрительный зал с тремя ярусами и далеко впереди — сцена, мерцавшая тусклым зеленоватым светом, словно морское дно. Нигде ни души. Но мы знали, что дежурные ПВО обязательно должны сделать проверочный обход. Зенитки после первых выстрелов успокоились. Только вдали еще несколько минут бухала артиллерия. Наконец замолкло и там. Стало тихо, очень тихо. Поразительно, какой угрожающей кажется тишина в большом помещении. Должно быть, потому, что в большом помещении человеку легче к тебе подкрасться. А человек почти всегда означал опасность.

Мы сидели рядом. В первый раз нам нечего было делать — только ждать, просто ждать, пока кончится воздушная тревога. Никто не видел нас. Мы были одни. Я слышал, как в ушах у меня звенит тишина... Или это звенела в жилах кровь? Меня охватило какое-то празд-

ничное настроение. Ладно, пусть это будет тщеславие, но мы спрятали клад, который стоил дороже, чем шапка денег. Тут было то, что накормит, насытит, возможно, даже спасет многих гонимых. Я представлял себе, как они будут взволнованы, когда откроют портфель и увидят много сотен рейсовых талонов. Я представлял себе, как они удивятся, в какое придут возбуждение. У них будут продукты, это так... Но скажите, ради бога, кто согласится закупить эти продукты? Фрау Хеншке сказала, что у них есть друзья не евреи, они будут ходить по разным лавкам, чтобы не закупать в одном месте сразу слишком много и не привлекать к себе внимания. Все было строго нормировано. Тот, кто купит по нашим талонам мешок риса, обязательно будет задержан. А затем начнется расследование, и возможно, что полицейские ищeyки разнюхают в чем дело. Там обнаружено хищение карточек, а здесь куплен мешок риса. Ага! Нет, так нельзя. Надо купить фунт риса и хлеб здесь, фунт риса, хлеб, полфунта масла и колбасы — там. И домой со своей добычей. А потом в третью лавку, и опять: фунт риса, и все остальное, и кофе — вот вам рейсовые талоны, пожалуйста! А затем все это богатство тайком переправить в еврейскую больницу, а оттуда в те семьи, где приютили беглецов. И наконец, наконец-то после такой нужды, после таких лишений на какое-то время (на месяц-другой) люди будут сыты, у них будут яйца, жиры, яблоки, и хлеб, и все, что необходимо человеку.

В соседней ложе под креслом № 3 лежало то, что стоило дороже золота, — там лежало счастье. Надо было только доставить завтра портфель к фрау Хеншке.

Ева и фрау Хеншке договорились на четыре часа следующего дня. В три часа я должен был зайти в театр, взять у Мюке портфель и в половине четвертого передать его Еве в кафе «Ринг». Сделать это будет нелегко. По всей вероятности.

Была ночь, что-нибудь около половины второго, и Ева сидела тут, рядом со мной, совсем близко. Она сидела поразительно тихо. Можно было подумать, что она умерла, так тихо она сидела. Можно было подумать, что она смотрит захватывающий и яркий спектакль, так тихо она сидела.



— На сцене никого, — сказала она шепотом, — совсем никого.

Я молчал.

— Странно выглядит сцена без людей. Никогда раньше я ее такой не видела.

— Теперь мы тоже можем мысленно разыграть какую-нибудь пьесу. Что бы ты хотела сыграть, Ева?

— Комедию. Яркие шелка, смех, кринолины, веселая болтовня, любовь и все такое...

— Все, чего у нас нет...

— Да.

А мне мерещилась на сцене другая пьеса: «Машина страха». Она разбрызгивала страх, как пульверизатор распыляет духи. Обслуживали ее серые военные рабы, дождь страха моросил не переставая, и тот, на кого падала капля, превращался в пепельно-серую измученную тварь.

Прошла минута, и Ева снова заговорила.

— Я давно не была в театре. Последнее время здесь ставили «Фауста». Я читала афиши.

— Оперу Гуно.

— Ага. Ты ее знаешь?

— Немного, со школы.

— Там было ведь что-то такое: «Остановись...»

— Фауст ищет счастье, ищет то мгновение, когда он будет вполне счастлив, так что сможет сказать: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно». Что-то в этом роде.

— Ты когда-нибудь был счастлив?

— Не знаю.

— Может быть, счастье — противоположность страха.

— Почему?

— Может быть, человек счастлив, когда не испытывает страха.

— Может быть...

— Может быть, счастье действительно мгновенно. Я не могу себе представить, что можно быть счастливым всю жизнь. А ты?..

— И я не могу. Тут надо, чтобы все было одно к одному, чтобы были и любовь, и успех, брак, дети, деньги...

— И надо, чтобы человек это замечал.

— Ну, это уж кто как чувствует.

— Да.

— Но свои чувства нельзя вечно держать на точке кипения. Это как с любовью. В молодости любовь бьет через край. Потом вступаешь в брак, любовь делается спокойней, но зато к ней присоединяется дружба. А когда оба состарятся, действительно может получиться какое-то сходство, общность существования у двоих людей. Но в романах все та же старая ложь. Там вечно пишут о безумной любви... Скучно.

— Ведь есть еще другая, особенная любовь.

— Не будем о ней говорить.

— Не будем.

Мы смотрели на пустую сцену, потому что там был хоть какой-то свет. Всегда смотришь туда, где свет или движение.

Может быть, говоря о другой любви, она имела в виду нашу? Была ли это любовь? Меня не трогали определения. Я говорил вообще, так сказать, принципиально, а она имела в виду частное — самое что ни на есть частное в самом что ни на есть типическом. Она была женщина. Я слышал ее тихое дыхание. Я чувствовал тепло ее тела, ощущал его, хотя она сидела за полметра от меня, не ближе.

Я взял ее по-мальчишески жесткую руку. Сначала она хотела отдернуть ее. Но потом ее рука осталась в моей. Больше того, она как будто почувствовала себя там довольно уютно. Она обмякла, разжалась. Мне пришло в голову сравнение с маленьким зверьком, удобно устроившимся у меня на ладони. Я услышал Евин голос, очень тихий, почти робкий.

— Ты не думаешь, что есть и другая любовь?

Я чуть дышал.

— Может быть, и есть, Ева.

— Я думаю — есть, — сказала она просто.

Я притих. Это было сладостное и пламенное мгновение и такое прекрасное, как никогда раньше. Ее дыхание стало чуть слышнее. Снаружи было совсем тихо, ни единого выстрела.

— Все это какое-то странное наваждение, — сказал я.

Под нами я видел бесконечные ряды пустых стульев. Я все снова и снова подозрительно вглядывался, но

сидит ли где притаившийся человек. Вдруг резкий луч света проник через открывшуюся дверь. По боковому проходу зрительного зала шел человек с потайным фонарем. Я увидел близко от себя белое неподвижное лицо Евы, которое на какой-то миг блеснуло во мраке, словно вынырнув из воды. Человек с фонарем поднялся по маленькой лесенке на сцену, осветил вокруг, прошел через всю сцену и исчез, кашляя и кашляя.

— Что ты имел в виду, когда сказал: странное наваждение?

— Ну да все, что вокруг, — весь мир, воздушную тревогу, нашу группу, продуктовые карточки и страх. И среди всего этого мы с тобой здесь в ложе.

Ее рука шевельнулась в моей. Она отодвинулась. Но потом опять приблизилась, взяла мою руку и подняла к своей груди. Я ощутил мягкую округлость и чуть слышное биение сердца.

— И еще многое, кроме того, что ты перечислил. Еще многое, очень многое. — Она сказала все это почти однотонно, почти беззвучно. И прибавила: — И это мы не должны забывать.

— Ты права.

— Такие люди, как ты, легко это забывают.

— Возможно.

— Мы забываем оттого, что живем в вечных муках и страхе, и к тому же нам так часто приходится соблюдать осторожность.

— Мы ни на минуту не должны забывать об осторожности.

— Нет! Я так не могу. Я не могу жить вашей холодной рассудочной жизнью, вечно в страхе, вечно настороже. Я хочу жить, жить по-человечески, понимаешь? — Она отодвинула мою руку, нагнулась ко мне, всматриваясь в мое лицо.

— Говори тише, Ева.

— Говори тише! Хватит с меня этого, иногда я чувствую, что мне опостылело говорить тихо, быть осторожной, расчетливой, жить в страхе. Опостылело!

— Ева, слушай, большинство людей несчастны потому, что слишком многого ждут от жизни. Бывают невезучие поколения. Наша жизнь до конца пройдет под

знаком войны. Безумие вместо разума. Мы хотим это изменить. Верно?

— Неужели ты меня не понимаешь? — ее маленькое личико белело около меня. Она напряженно всматривалась в мое лицо.

— Ева...

— Неужели ты не хочешь меня понять?

— Я тебя понимаю, ну конечно же, понимаю, но...

— Ах, оставь свои дурацкие нравоучения. Я все это сама знаю. Но то, о чем я говорю... это больше, это касается нас, тебя и меня. Но на это ты не реагируешь. Ты жесток, Дан.

Тут мы услышали отбой. Это освобождало нас. Немного спустя в дверях ложи появился Мюке. В руке у него был карманный фонарик. Мюке ухмылялся во весь рот.

— Ну, как провели время, хорошо?

— Ты бы нам позавидовал, чертенок, — ответил я.

— Еще бы, — невозмутимо заметил он и повел нас по каким-то коридорам и лестницам.

Мы ушли из театра через служебный вход.

— Приходи сюда завтра днем, в три часа, после репетиции, — шепнул мне Мюке, когда мы стояли на освещенной луной улице. — Я отдам тебе портфель.

— Хорошо. Спасибо.

Ева уже прошла немного вперед. Фонари светили синим светом, и асфальт поблескивал там, где не был поврежден сотнями осколков.

Мы молча шли по улицам.

Потом я сказал:

— Я, конечно, понимаю тебя, Ева.

— Пожалуйста, оставайся при всех своих добродетелях!

— Так, значит, завтра в кафе «Ринг», — сказал я. — В половине четвертого я принесу портфель.

— Ладно, — угрюмо отозвалась она. — И мы, как и полагается, будем соблюдать осторожность.

Я посмотрел ей в лицо. Лицо у нее было замкнутое и холодное.

— Да, — сказал я, повернулся и ушел.

---

**Т Р И Ч А С А П Я Т Н А Д Ц А Т Ь м и н у Т**

Напротив, на колокольне, стрелка на освещенном циферблате медленно подвигается вперед. Большой город спит. Спят прокуроры и преступники, дети и учителя. В домах по обеим сторонам улицы за спущенными шторами спят семьи, им снятся тревожные и счастливые сны.

Дождь усилился. Я вижу косые полосы воды на фоне ближайшего уличного фонаря. Дождь барабанит по кузову лимузина, где я сижу в напряженном ожидании.

Я ни разу не был на этой улице днем. Но я провел здесь не одну ночь, чтобы установить время и подготовить осуществление некой операции. Я человек терпеливый, и меня трудно сбить с намеченного пути. Когда я выяснил все, что было надо для моей цели, я отправился в автопрокат.

В скучной конторе сидела хозяйка — толстая женщина в роговых очках. Аккуратно выкрашенная седая прядь резко выделялась в ее прическе. Она жевала конфетку и все снова и снова совала руку в коробку. Цену она заломила невероятную, но мы все-таки сторговались.

Я сказал, что машина понадобится мне, возможно, на целую неделю, а то и больше. Может случиться, что я буду ставить машину на место ночью и даже довольно поздно.

Ну что же, она и ночью дома. Просто надо постучать ей в левое окно.

Она посмотрела мне вслед, продолжая жевать конфетку. Посмотрела задумчивым, оценивающим взглядом, а сама жевала конфетку за конфеткой. У нее были карие, бархатные, удивительно наглые глаза, и сквозь очки она долго смотрела мне вслед. Некоторое время спустя, возвращаясь с моей первой ночной экскурсии на машине, я постучал в левое окно. Она подала мне ключ от ворот, и я поставил машину на место. Когда я выходил из ворот, хозяйка в капоте стояла у двери. Она пригласила меня зайти и провела в неубранную гостиную.

Она сказала, что празднует сегодня рождение и что ей хочется выпить рюмочку ликера хотя бы с одной живой душой. Нельзя же отказать в этом женщине. Ей было саму себя жалко. Голос ее прерывался, казалось, она вот-вот заплачет. В открытую дверь мне была видна ванная. На веревке висели чулки и обессиленный бюстгальтер внушительных габаритов.

Она усадила меня в плюшевое кресло у стола и налила рюмку шафранно-желтой тягучей жидкости. В вырезе ее капота колыхалось ужасающее обилие того, о чем свидетельствовал окончательно изнемогший бюстгальтер. В гостиной стояла сногшибательная коллекция всякой устаревшей мебели, с удивительной безвкусицей укомплектованная двумя мавританскими мраморными табуретами и старинным рабочим столиком. В двух стройных хрустальных вазах стояли искусственные розы. Надо всем царил тяжелый дух гниющих груш, которые дожидались своей участи в майоликовой вазе на серванте. Телевизор слепо глазел в пространство. Всюду были разбросаны подушки с кистями. Со стены из тяжелой золотой рамы трубил олень, а напротив меня сидела полнотелая владелица автопрокатного заведения в солнечно-желтом капоте из жесткого шелка; она говорила то, что обычно говорят в полночный час, и ее бархатные карие глаза гипнотизировали меня взглядом, выражающим нечто среднее между призывом «поди сюда, мой красавчик» и воплем о помощи.

— К сожалению, мне пора уходить, — сказал я.

Нет, нет, и речи быть не может. Она так одинока. Ее благоверный умер. Ей туго приходится, но она не поддается и теперь может жить на свои доходы. Иногда она ходит одна на пятичасовой чай и танцы в отель «Кениг». Она сняла очки.

— Мне, правда, пора, — повторил я.

И речи быть не может. Она меня ни за что не отпустит. Иногда ей кажется, что для дела был бы полезен мужчина, настоящий мужчина... Разве это порядок, чтобы женщина была одна и днем и ночью. Нет, нет.

О, у нее остались конфеты...

Она встала, и ее капот распахнулся, так сказать, случайно и засвидетельствовал, что под ним ничего нет, о чем я весьма пожалел. Она стала извиняться с преувеличенным испугом и заворковала с жеманством, уже

лет двадцать как вышедшим из моды. Она обмахивалась вялой, словно ватной, рукой. Спросила, не жарко ли мне? Ее, видите ли, бросило в жар. Дело в том, что у нее горячая кровь. Говорила она подчеркнуто выразительно, поджимая свои тонкие губы, и при этом пожирала меня нарочито страстным, кинематографически пламенным взглядом, и вертелась, и по-девичьи изгибала свое тучное тело.

Я поблагодарил ее и встал.

Тогда она надвинулась на меня, подобная темной сторожевой башне, в нижнем этаже которой беснуются псы, а в верхнем сторожа зорко следят за врагом. Она мягко упала мне на грудь, и капот ее распахнулся.

— Не уходи... — прошептала она страстно. — Не уходи!

Теперь псы ринулись и в верхний этаж, прогнали сторожей и овладели всей башней. Из всех бойниц кричала, вопила неудержимая страсть. Я с интересом наблюдал это зрелище.

— Завтра около двенадцати я возьму машину, — сказал я.

Она застыла, потерянная, окаменевшая, все еще протягивая ко мне уже безвольные руки; и глаза у нее были теперь не бархатные, а серые, подернутые пеплом разочарования. Она стояла передо мной, всем своим видом являя одиночество и безнадежность. Мне стало ее жалко.

И я ушел.

Когда на следующий день я пришел за машиной, она не появилась. Я сделал пробную поездку по тихим окраинным улицам. Я проверял машину главным образом на рывок с места и торможение. Я клал на мостовую ветку или камень и обрабатывал известную точность, потому что каждая машина ведет себя по-своему.

Всякий раз я предварительно удостоверился, что никто за мной не наблюдает. Война и подпольная работа приучили меня быть осторожным, а тюрьма еще укрепила эту привычку.

С осторожностью, той самой, о которой говорила Ева, я не расстался и по сей день. И если сегодня ночью удастся выполнить то, что я так долго подго-

товлял, мне и в дальнейшем придется быть осторожным, и Ева, живи она здесь, знай она, что мы добиваемся атомного оружия, возможно, не говорила бы об осторожности с такой горечью, как тогда, в ложе оперного театра...

На следующий день я увидел Еву, когда точно в условленное время вошел в кафе «Ринг». Она сидела в большом, полном народа зале за чашкой кофе.

Она бросила взгляд на туго набитый портфель, который я положил на стул.

— Как поживаешь? — спросила она.

Я понял, что она уже не сердится.

— Отлично, — ответил я и улыбнулся ей.

Она вздохнула с облегчением. Мне редко приходилось видеть, чтобы радость так быстро, как у Евы, озарила лицо. Бледность с ее лица сдуло, как порывом ветра, оно порозовело и засияло. Она думала о голодных, которые получают еду. Но заговорила она не об этом.

— Выпьешь кофе? — спросила она.

— Да.

И она заказала кельнерше чашку кофе.

Ни с того ни с сего на нее напала озорная веселость. Вокруг было много народу. От громкого говора стоял гул в зале, лимонно-желтые стены которого кое-где растрескались, так как верхние этажи выгорели. То тут, то там раздавались взрывы хохота. Из радио вырывались хриплые звуки опостылевшей военной музыки. Представители власти в мундирах плотным и шумным коричневым кольцом восседали за круглым столом, уставленным кружками пива. Летчики, грудь которых украшали ордена, и отпусники в серой полевой форме сидели с семьями или со своими девушками за столиками и ели фирменное блюдо. Раненые — одни с неподвижно прибитой к шине рукой, другие с металлическими костылями — пили жидкое пиво или довольствовались густым картофельным супом. И всюду мелькали измученные лица не выспавшихся из-за воздушной тревоги жителей столицы. Усталые кельнерши бежали взад и вперед, а на черных листах картона, вставленных вместо стекол в большие окна, наклеены были плакаты с человеком в серой форме, который, казалось, шепчет: «Тсс! Враг подслушивает!»



Ева разыгрывала влюбленную. Не знаю, почему ей это вздумалось. Она жеманными глоточками пила жидкий кофе из грубой фаянсовой чашки.

— Милый, ты не забываешь откладывать деньги на комод? — прошептала она, бросив на меня сентиментальный взгляд. И она с трудом подавила смешок.

— Ну разумеется, разумеется! — Я чувствовал себя неловко.

— И восьмиламповая хрустальная люстра нам тоже очень, очень нужна, котик. Такая люстра — самая подходящая в наше время. Очень мило будет, не правда ли?

Это «не правда ли» она кокетливо чирикнула, томно опершись подбородком на изящную левую ручку.

Незатейливые, жалкие шуточки, которыми она хотела хоть немного разрядить атмосферу страха и опасности. Часто ли ей приходилось смеяться? Неужели ее молодость так и пройдет без смеха? Молодость бывает раз в жизни. Но Еву молодость обошла. Вместо каникул и путешествий — воздушные тревоги, вместо катания на лодке — распространение по ночам листовок, вместо веселой вечеринки и танцев — нелегальные явки и вечный страх ночью. Я понял, откуда ее озорная веселость.

— Пойдем, — позвал я.

— Ой, миленький, у тебя галстук опять съехал на сторону. Сидит совсем косо. Тебе надо больше следить за собой, котик. Честное слово, ты похож на грабителя.

Она тихонько рассмеялась. Я поправил галстук.

Вдруг, к своему ужасу, я увидел, как чья-то чужая рука протянулась к моему портфелю. Я сразу повернулся. Ухмыляющаяся красная клоунская физиономия наклонилась ко мне, рука подняла портфель и положила его на соседний стул, где висело Евино пальто. Незнакомый человек приблизил ко мне свою обрамленную сединами лысину и шепнул с добродушной веселостью:

— Извините, молодой человек, разрешите похитить у вас стул?

— Пожалуйста.

Он исчез вместе со стулом. Мы с Евой посмотрели ему вслед. У нас гора с плеч свалилась. Мы с облегчением вздохнули и неуверенно улыбнулись друг другу.

— Иди вперед, — сказал я.

Она кивнула и вышла.

Я заплатил по счету и, взяв портфель, вышел вслед за Евой. Она медленно шла впереди. У нас выработалась привычка всегда ходить вдвоем, когда надо было переправить нелегальщину. В случае опасности второй мог сыграть важную роль — либо выступить свидетелем, либо отвлечь врага. Мы знали, что на Еву можно положиться. Она была словно создана для подпольной работы — таким она обладала хладнокровием. Я шел за ней на расстоянии приблизительно в тридцать метров и любовался ее красивой походкой, ее изящной нервной фигуркой. Переходя улицу, я вдруг почувствовал толчок. Портфель отлетел на мостовую. Рядом со мной свалился велосипедист.

— Кто смотреть будет? — крикнул он. — Бросается, как дурак, под самое колесо. Очки завести надо!

Вокруг собралась толпа. Я увидел, что портфель открылся. Верхний край продуктовых карточек был ясно виден. Я нагнулся, чтобы поднять портфель. Но меня опередил какой-то мальчишка. Он неловко взял портфель. Карточки могли выпасть каждую минуту. Я подбежал, выхватил у него портфель и защелкнул замочек. Велосипед был цел. Велосипедист выругался вполголоса.

— Решили покончить с собой — так ищите восьмицилиндровую машину, а не такую дрянь, как моя вертушка. Какой...

По противоположному тротуару приближался полицейский, увидевший скопление народа. У меня душа ушла в пятки.

— Не ругайтесь, — быстро сказал я, — по той стороне идет полицейский, он сейчас же составит протокол.

Велосипедист бросил озабоченный взгляд на ту сторону, сел на велосипед и нажал на педаль.

Я, крепко держа под мышкой портфель, зашагал по тротуару в противоположном направлении. Толпа разошлась. Ева стояла у витрины. Она видела всю сцену.

Когда я приблизился, она снова пошла вперед, пока мы не свернули на безлюдную улочку. Здесь было несколько недавно разбомбленных домов, и где-то здесь же находилась еврейская больница. Фрау Хеншке жила рядом, в старом доходном доме. Ева вошла в дом, я тоже.

В подъезде она дождалась меня. Своими ясными серыми глазами она оглядела лестницу. Непрошенных

свидетелей не было. Я передал ей портфель. Она кивнула. Минутку подождала, серьезно на меня посмотрела и тихо сказала:

— С тобой все удастся, Дан...

Потом она поднялась по лестнице и позвонила. Я подождал еще немного, через стеклянную дверь подъезда я следил за улицей. Ничего подозрительного не было видно. Я пошел на ближайшую остановку автобуса и уехал.

Дорогой я все еще видел ее перед собой, видел, как она идет впереди по улице, тоненькая, изящная, прямая, с медными волосами, вспыхивающими на солнце. И когда она оглядывалась, у нее были глаза заботливой сестры. Это был извечный взгляд безымянного товарщества, взгляд, внушавший мужество.

Ей нравилось подтрунивать над своими чувствами. Если кто ее хвалил, как я это сделал накануне, она могла вздернуть верхнюю губку и сказать:

— Э, брось, какая я певица, я просто певичка.

— Нет, ты настоящая певица.

— Чепуха, певица поет серьезные вещи, арии и все такое. А я просто так, мурлыкаю, что придется.

— Ты очень хорошо поешь, Ева.

— О боже, боже!.. Нет, ты это брось.

Бывал в ней и какой-то наигрыш, но это только подчеркивало ее иронию и бесстрашие. Ее нельзя было обмануть. Фальш раздражала ее. Тогда она с насмешливым видом возводила очи к небу и вздыхала: «О боже, боже». Особенно выводил ее из себя своей манерой говорить Пауль.

Когда в тот же вечер мы собрались перед началом концерта в артистической, Ева отозвала меня в сторону и сказала:

— У меня неудача. Я не смогла отдать портфель.

— Ах черт! Почему?

— Фрау Хеншке нет дома. Она лежит в больнице. У нее воспаление легких.

— И никто не может нам помочь?

— Никто.

— А если отдать портфель просто в контору больницы?

— Они подумают, что это штучки полиции, провокация.

— Но карточки надо раздать, ведь люди пропадают.

— Есть одна возможность, — сказала Ева.

— Какая?

— Профессор.

— Какой профессор?

— Один еврей, ученый, ему мы могли бы отдать портфель.

— Ты знаешь, где он живет?

— Да. Он со звездой. Каждое утро он ходит с Вальдштрассе в Государственную библиотеку. Когда он выйдет из библиотеки, мы пойдем за ним до его подъезда и там отдадим ему портфель.

Наутро мы стояли в большом вестибюле Государственной библиотеки. Мимо нас сновали студенты, солдаты, ученые, они оставляли в гардеробе пальто и портфели, подымались по широкой лестнице и, пройдя контроль, расходились по читальным залам. В этот час тут было очень оживленно. Наконец мы увидели его — старого, усталого еврея, проделавшего двухчасовой путь пешком. Он носил желтую звезду, однако ему, семидесятипятилетнему известному ученому, была оказана особая милость: он мог пользоваться книгами из Государственной библиотеки. Он взял три книги, которые выписал накануне, в изнеможении опустился на один из стоявших тут кожаных диванчиков и начал читать. Но это продолжалось недолго: к нему подошел дежурный, работающий на выдаче, и предупредил, пожалуй, даже довольно миролюбиво:

— Послушайте, так не годится. Вы же знаете, что вам не разрешается сидеть в Государственной библиотеке. — И, пожав плечами, он повернулся к своему коллеге, сидевшему за столом: — Им только разреши, они уж и рады. Сами будут виноваты, если в один прекрасный день с ними заговорят другим языком. Нечему тут и удивляться.

Его сослуживец сложил в стопку книги на столе и проворчал:

— Не распинаяся, Эгон. Твое повышение — дело решенное.

Профессор поднял глаза от книги и сдвинул очки на лоб. У него были голубовато-серые, словно замороженные глаза. Он взял свои три книги и медленно встал. Видно было, что он очень утомлен. Он оглядел помещение. У него был выбор между подоконником и конторкой. Он предпочел подоконник, аккуратно положил на него книги, достал бумагу и карандаш и начал работать стоя. Брать нужные книги на дом ему не разрешалось. И так, у подоконника работал крупный ученый, загнанный, с клеймом на груди, работал стоя. Ему не разрешалось сесть. Наверху, в главный каталог, прежде было внесено одиннадцать книг этого ученого, все они были изъяты новыми властителями. В свое время он был издателем серьезных научных журналов, ординарным профессором и председателем научных обществ. А теперь он уже полчаса стоял у окна в шумном зале выдачи книг и делал выписки; потом он заполнил требование на завтра, отдал просмотренные три книги и усталым шагом направился к выходу. Ева подошла к нему еще в вестибюле. Он сразу узнал ее, протянул ей руку, и на его худом лице мелькнула радость. После того как Ева сказала ему несколько слов обо мне, он поздоровался и со мной.

— Можно вас проводить, господин профессор? — спросила Ева, когда мы вместе вышли из библиотеки.

— Как? До дому? Ну что вы. Вы очень устанете, — возразил он.

— Если не устаете вы, не устану и я. — засмеялась она.

Слова ее звучали весело, точно она вызывала его на спортивное соревнование. Но путь их превратился в ряд нелепых унижений, порожденных изобретательной фантазией сограждан. Ева и старый седой профессор два часа добирались через весь город до Вальдштрассе. Я с тяготившим меня портфелем следовал за ними на расстоянии пятидесяти метров.

Профессору, как и всем, кто носил на груди звезду, не разрешалось пользоваться никаким транспортом. Путь его лежал через расположенный в центре города огромный старый парк, по которому было бы очень приятно пройти. Но профессору, как и всем, кто носил на груди звезду, запрещалось посещать сады и парки, поэтому мы обошли его стороной. Он, разумеется,

мог потихоньку нарушить запрет. Но, к сожалению, была очень большая вероятность того, что кто-нибудь из сограждан заметит желтую звезду на груди старика и крикнет:

— Что здесь надо этому наглецу? Эй, эй, послушайте, я вам говорю! Что за бесстыдство!

Подошли бы другие прохожие, начали бы возмущаться. Те, кто попытались бы вступить за еврея, присмирели бы, испугавшись угроз или даже просто недовольных взглядов. Позвали бы полицейского, а это наверняка было бы равносильно для него отправке в лагерь, равносильно смерти. Вначале, когда желтые звезды были только еще введены, многие нарушали бесчисленные запреты. Это всегда кончалось отправкой, потому что всюду подкарауливала ненависть.

Итак, профессор, как и полагалось, обошел парк стороной. И дальше тоже приходилось не раз делать крюк, так как тем, кто носил звезду, было запрещено появляться на больших улицах и проспектах. Профессор не мог сесть на скамейку, как бы он ни устал. Лишь кое-где стояли выкрашенные в желтый скамейки с надписью «только для евреев». Профессору был запрещен вход в ресторан, как и вообще во всякое общественное помещение без такой надписи: в зал ожидания на вокзале, в кино, в телефонную будку или на рынок. В лавки тем, кто носит звезду, тоже разрешалось входить только в определенные, строго установленные часы. Только тогда отоваривались скудные карточки для евреев. Идя по людным улицам, профессор вел с Евой оживленную беседу. Одет он был плохо, но держался с достоинством. Каблуки на башмаках были стоптаны, брюки обвисли, но в движениях не чувствовалось безнадежности и тоски. Когда мы после долгого странствия подошли к Вальдштрассе, я заметил, что Ева ему что-то объясняет. Он молчал, а она в чем-то его убеждала. Потом он решительно помотал головой. Но Ева настойчиво убеждала его. Он еще несколько раз мотнул головой, но уже не так решительно. Видно было, что Евины доводы оказали свое действие. Всю дальнейшую дорогу он задавал ей вопросы и внимательно смотрел на нее.

Навстречу шли двое в черных мундирах. Увидя человека с желтой звездой, они насторожились и двинулись прямо на него, точно возымели намерение его

затоптать. Но профессор уже за три шага отошел в сторону и пропустил их, вежливо повернувшись к ним всем корпусом. Когда я затем поровнялся с обоими всэсовцами, я увидел, что это свежесбрившиеся молодые люди совсем не зверского вида.

— Подумать только, что это отродье все еще смеет среди бела дня разгуливать по улицам...

— Да еще с девушкой! Может быть, даже с арийской. Надо было бы вздуть его как следует...

— Не стоит, — возразил первый, — скоро мы всех их засадим за решетку.

Пробегавшие мимо дети загоготали от восторга. Я ускорил шаг. Подойдя ближе, я понял, что Ева, судя по всему, убедила профессора. Он кивнул головой. Остановился на минуту. Потом опять кивнул. Я следил очень внимательно. Ева больше ничего не сказала. Но когда мы дошли до угла Вальдштрассе, она сделала мне условный знак: посмотрела вверх, точно увидела на крыше большого доходного дома что-то интересное. Они пошли тише, и я догнал их.

— Здравствуйте, — сказал я, — какая приятная встреча. Мы так давно не виделись.

Мы обменялись несколькими словами, как это обычно делают, случайно встретившись на улице со знакомыми. Я поставил портфель на тротуар, словно он был для меня тяжеловат. Спустя немного профессор нагнулся, поправил что-то на своих брюках и взял портфель. Затем мы расстались. Я пошел, никуда не сворачивая, по той же улице. Я видел, что Ева попрощалась с профессором на углу Вальдштрассе и что старик один пошел с портфелем к дому, где жил. Значит, портфель ему пришлось нести очень недолго.

На следующий день мы узнали, что все сошло благополучно. Несколько месяцев спустя нам стало известно, что профессора с женой отправили в пересыльный лагерь. Затем их вывезли в концлагерь в Терезиенштадте, где он вскоре умер. Последняя его работа пережила в сейфе войну и была опубликована. Его шестидесятисемилетняя жена была отправлена в Освенцим и погибла в газовой камере.

Когда на следующий день после операции с портфелем я увиделся с Евой, мы посмотрели друг другу в глаза. Переживания последних дней сблизили нас боль-

ше, чем это сделала бы ночь в ивовых зарослях на берегу реки. Теперь мы знали, что мы оба приняли решение, и приняли бесповоротно. И это поняли все наши друзья из «Серебряной шестерки», и Пауль тоже. Он менялся в лице, когда видел нас с Евой вместе на репетициях или концертах. Он стягивал губы в красное колечко и не отрывал глаз от клавишей рояля.

Но как-то ночью, когда последний посетитель ушел из ресторана и мы уже укладывали инструменты, у Евы с Паулем вышел крупный разговор. В конце концов Ева швырнула ноты на стол. Затем повернулась и сказала тихо, но очень решительно:

— Оставь меня в покое, Пауль. Оставь меня наконец в покое. Пойми, это же совершенно бессмысленно! Не мучай меня!

Он стоял за ее спиной.

— Я же тебя не мучаю... — сказал он.

— Нет мучаешь! Ты отлично знаешь, что Даниэль мой друг, я же тебе сказала...

Она взглянула на него. Он посмотрел ей в глаза безумным взглядом.

— Что, что ты мне сказала, Ева?.. Что?

Тут она вышла из себя и крикнула ему в лицо:

— Иди к черту и оставь меня в покое! Раз и навсегда! Вот что я тебе сказала!

Воцарилась мертвая тишина. Такой мы Еву еще никогда не видели. Я испугался ее яростной вспышки, я никак этого не ожидал от Евы. Пауль растерянно смотрел на нее. На минуту он застыл, словно превратился в серое каменное изваяние.

— Ева, ведь ты же говорила, что мы останемся друзьями!

— Говорила, а сейчас... сейчас уходи.

Пауль обнял ее за плечи и старался успокоить.

— Ева, послушай...

Но она резким движением сбросила его руки и крикнула:

— Уходи!

Тогда он повернулся на каблуках и вышел. Дверь громко хлопнула. Мы молча убрали инструменты. Я заметил, что Вальтер не встает с места и молча уставился на свою трубу.



Некоторое время было совсем тихо. Мы все пятеро немного растерялись. Перед нами был пустой и темный зал. На эстраде горела одна-единственная лампочка без абажура, которую бережливая хозяйка включала сразу же после ухода последнего посетителя. При скудном свете этой лампочки на наших лицах лежали темные тени.

— Придется прекратить, — вдруг негромко сказал Вальтер.

Свет упал на золотистые волосы Пелле, приковылявшего к нам. На его юношеском лице выразилось удивление.

— Что ты имеешь в виду?

Вальтер посмотрел на нас. Его худое лицо было строго.

— Я имею в виду, что листовкам конец.

Он сказал это очень тихо. Тут не выдержал Мюке, самый молодой из нас. Он вспыхнул.

— Легче, легче, Вальтер! Что ты говоришь? Чтобы нам на попятный?

А Пелле хлопнул кулаком по столу.

— И не подумаю! — крикнул он.

Ева предосторожности ради заглянула за кулисы и спросила:

— Почему? Что случилось, Вальтер?

Вальтер спокойно стоял на краю эстрады. Его худое лицо, лицо молодого атлета, было непроницаемо.

— Мы скажем Паулю, что больше не хотим рисковать своей шкурой. И все.

Ева покачала головой:

— Но почему, Вальтер? Потому что я с ним повздорил? О боже, боже!..

— Сейчас скажу почему. Наступит день, возможно, он уже не за горами, и Пауль станет нам врагом. Кроме всего прочего, он ненавидит тебя, Даниэль, а может быть, и Еву, и нас всех. Личные чувства ставят под угрозу нашу работу. Я ему больше не доверяю.

Пелле растирал больную ногу.

— Что верно, то верно, братцы. Я тоже ему давно не доверяю, — проворчал он.

Мюке медленно обошел помещение, чтобы проверить, нет ли где нежелательного слушателя, и вернулся на эстраду. Он стоял перед пюпитром, на чехле которого

серебряными буквами было выткано: «Серебряная шестерка». Он огорченно покачал головой.

— Сгинул бы он, что ли! — сказал он.

— Нет, это опасно, лучше, чтобы он остался, — как всегда негромко возразил Вальтер, — так он по крайней мере у нас на глазах. — Он еще понизил голос, так что мы с трудом разбирали его слова. — Не забудьте, для предателя мы клад. Вы знаете, гестапо требует дел.

Тут Ева все поняла.

— Он может нас предать? — прошептала она, побледнев.

— Слушай, ты действительно хочешь навсегда прекратить работу? — спросил Мюке.

— Нет, конечно. Но пускай он думает, что это так. Мы заявим ему, что с листовками покончено раз и навсегда. Но на самом деле это будет только временно. А потом начнем снова, уже, изменив условия. Но он не должен знать, что мы возобновили работу. Малейшая случайность — и он поймет, что он фактически отстранен, а это может толкнуть его на донос.

Ева покачала головой.

— Это очень опасно.

Но Вальтер возразил:

— Я уже не первый день думаю об этом. Прекратить работу мы не можем просто потому, что она нужна. Нужна! Понимаете, нужна!

Его слова сняли тяжесть с наших плеч. И в конце концов мы решили сделать так, как предложил Вальтер.

На следующий день Ева поговорила с Паулем, чтобы его успокоить. Они стояли вдвоем позади эстрады. Она сказала, что всему виной ее переутомление, нервы, ночная тревога. Но Пауль в этот день был озабочен другим. Он на удивление равнодушно протянул Еве руку, а потом показал нам настуканную на машинке повестку, которую он получил утром: ему предлагалось явиться в гестапо.

— Опять меня из-за отца теребят, — сказал Пауль, пожимая плечами. Он был, как всегда, в своем коричневом костюме, и лицо у него было озабоченное и отекшее.

Я видел, с каким облегчением вздохнул Вальтер, и понял почему. Если Пауль показывает нам такие повестки, значит, плохих намерений у него нет. Кроме

того, повестка облегчала выполнение придуманного Вальтером плана.

— Завтра, конечно, отправляйся туда, Пауль, а затем сразу же приходи к нам. Мы будем ждать. И до тех пор, пока гестапо от тебя не отстанет, мы свою работу прекратим, понял?

Пауль кивнул. По нему было видно, что это его успокоило. Вальтер сказал еще, что вчерашняя размолвка очень огорчительна. Но группа сопротивления это же люди, а люди молодые отличаются силой и цельностью личных чувств и не умеют быть сдержанны. И в группе сопротивления жизнь тоже идет своим порядком, жизнь с ее любовью и враждой и всем, что свойственно молодости. Человек не может сразу стать бесполом ангелом от того, что начал вести нелегальную работу. Возможно, мы еще не созрели для нелегальной работы. Во всяком случае, мы решили пока что прекратить эту работу, и еще вопрос, надо ли возобновлять ее при данных обстоятельствах.

Пауль был согласен, и вечером мы играли так, будто ничего не случилось. Только время от времени я ловил холодные, больше того, враждебные взгляды, которые Пауль, сидя за роялем, бросал на Еву и на меня.

Уже на другой день я почувствовал, как натянуты у нас нервы. Напряжение и недоверие стали невыносимы. Мы долго напрасно ждали Пауля. Его вызвали на четырнадцать часов, и он обещал сразу же прийти в наш ресторан, где его будет ждать один из нас, тот, кто сможет освободиться; но он не пришел. Только около семи вечера, когда мы все были в сборе и очень волновались, он тихонько открыл дверь артистической. Мы опустили инструменты и впились в него глазами.

Он медленно обвел взглядом наши лица и швырнул пальто на стол.

— Добрый вечер, Пауль. — Вальтер бережно положил свою трубу на стол. Он не смотрел на Пауля, но сказал очень спокойно: — Почему ты пришел так поздно?

— Заходил еще в разные места...

Вальтер обернулся и взглянул Паулю в лицо.

— Ты же обещал прийти сразу. Неужели ты не знал, что мы волнуемся?

— Знал.

— Ну так в чем же там дело?

— Ах, так, ничего особенного.

— Что значит ничего особенного? Зачем-то они тебя вызывали?

— Так, кое-какие сведения о моем отце... Я ведь это вам наперед сказал. Только и всего.

Тут Ева громко окликнула его.

— Пауль!

— Почему вы все так на меня смотрите?

Ева, стоявшая у рояля, выкрикнула:

— Пауль, ты лжешь!

— Ева, как ты можешь? — Пауль сразу повернулся к ней.

Вальтер сидел на краю стола. Он сохранял полное спокойствие.

— Зачем-то они тебя вызывали, Пауль! Скажи правду!

Но Пауль был вне себя от ярости. Он стянул губы в кораллово-красное колечко.

— Я же вам сказал! И вообще, что это за допрос?

Никогда не забыть мне громкого удивленного возгласа Евы:

— Пауль, да у тебя совсем другой голос... совсем другой голос... Что случилось?

## 5

---

### ТРИ ЧАСА ДВАДЦАТЬ МИНУТ

С того самого вечера мы внимательно за ним следили. Зародившееся подозрение усугубило нашу бдительность. Но Пауль был, как всегда, пунктуален и ничем не вызывал недоверия. Джазовых номеров мы не играли — «негритянская» музыка была запрещена, но мы варьировали дозволенную танцевальную музыку. В нашем оркестре почти все были любителями, не профессионалами, однако у нас в квартале он пользовался успехом, хотя, может быть, и не всегда был на высоте. Зимой и летом, когда играл наш оркестр, в ресторане и в саду при нем всегда было полно народу. Пауль

был эстрадный пианист с мягким бархатным туше. И когда Вальтер играл на серебрястой трубе свои сольные партии, такие выразительные, что можно было подумать, будто он с нами разговаривает, тогда стремительно вступал Пауль с короткими бравурными вариациями, и только в финале к ним присоединялись остальные. Случались такие вечера, когда у нас еще был общий язык — у нас с Паулем. Мы слишком долго верили, что он забыл о нашей подпольной деятельности. Мы ошибались. Потом, к своему ужасу, мы это поняли. Дело в том, что прошел месяц-другой, и мы снова взялись за распространение листовок. Мы изменили место, время и метод работы. Мы были осторожнее, чем раньше, и никто не мог бы заметить ничего подозрительного, даже Пауль.

Мы снова взвалили на себя это опасное дело, взвалили на себя серый предрассветный страх, когда лежишь без сна и ждешь, погрузившись в липкую муть страха, в которой, кажется, притаились и следят за тобой тысячи глаз.

Мы годами несли эту тяжесть, несли на себе. А чего мы достигли? Сейчас в машине сидит человек и сквозь ветровое стекло всматривается в дождливую ночь, выслеживая другого человека, которого он хочет убить. Это не моя воля, это наказ. Все равно как клятва, от беспощадного выполнения которой нельзя уклониться.

Все, что я выстрадал тогда, — те казни и пытки — сплывилось в моем сердце в твердый комок. Теперь я стал холодным и беспощадным. И сейчас каждый мой нерв ждет эту единственную минуту, когда весь груз ненависти, подобно тротилу, взорвется адским серно-желтым пламенем. Верьте мне, с той поры внутри у меня все вымерзло.

Возможно, что я болен, разъеден ненавистью. Одно верно — здесь поставлена на карту жизнь, для того чтобы уничтожить другую жизнь.

Повсюду я слышал обтекаемые фразы, оправдывающие задним числом убийства. Я читал их в газетах и слышал в разговорах. Это сделало меня одиночкой, особенно болезненно воспринимающим слова: «*Tout comprendre, c'est tout pardonner*» \*.

---

\* «Все понять — все простить» (франц.).

.. Ладно, я одиночка, и я пошел непроторенной, своей, мной самим избранной дорогой, которая привела меня сюда.

Уже три часа двадцать минут...

Ева тоже на совести того, кому осталось уже недолго жить. Чаще всего ей поручалось подбрасывать по вечерам листовки в дома. Обычно я сопровождал ее и страховал от неожиданных опасностей. Она всегда начинала с верхнего этажа какого-нибудь дома и клала листовки на подоконник или ступеньку. Почти всегда она справлялась быстро и скоро опять уже была на улице. На следующей улице она опять входила в дом и за вечер распространяла до трехсот листовок, которые нес я. Я держался поодаль и поближе к сточной трубе, чтобы в случае опасности быстро сунуть туда оставшиеся листовки и поспешить ей на помощь. Никогда не забыть мне одну летнюю ночь, когда мы распространяли листовки. Мы ехали из отдаленного района домой на старом громыхающем трамвае. Когда мы вышли и затемненный трамвай с синими лампочками, дребезжа, скрылся в темноте, Ева вдруг рассмеялась. Она забыла снять нитяные перчатки, в которых обычно работала. Она сняла перчатки, подняла вверх горячие руки и подвигала пальцами, как будто показывала китайские тени.

— Так, на сегодня все, — сказала она и глубоко вздохнула.

— Ты замечательно работаешь, — сказал я.

Чувство облегчения преобразило ее. Только что она быстро и четко работала, и притом со свойственным ей хладнокровием, а теперь по улице рядом со мной шла смешливая девушка. Мы были одни. Луна во второй четверти ярко освещала дома на другой стороне улицы, темные окна которых чуть поблескивали отраженным светом.

Ева шепнула:

— Слушай, моя мать ни за что не поверила бы, если бы ей сказали, что ее дочь, прошедшая курс сестер милосердия, по ночам пробирается в чужие дома и в каждом доме оставляет воззвание. Ведь хоть один человек да прочтет нашу листовку.

— Лучше бы ты опять работала в больнице, вместо того чтобы по ночам...

— Да ведь этого же нельзя, Даниэль. Разве ты забыл, что я с брачком? Еще счастье, что я пою у вас.

— Ты очень мужественна, Ева, принимая во внимание твое положение. То, что ты делаешь, одному человеку не под силу.

— Но ведь я не одна, Даниэль. Ты со мной.

Страх соединяет людей, связывает судьбы. Ева и я никогда не были так близки друг к другу, как в те дни. Я уже не раз провожал ее домой. Но этой ночью, когда я хотел свернуть в ту улицу, где жила Ева, она покачала головой.

— Я не хочу домой.

Я удивился. Я не понял. Но она с улыбкой взяла меня под руку и пошла по направлению к моему дому. Я осторожно открыл входную дверь и мы крадучись стали подниматься по лестнице. Синие лампочки давали только намек на свет. Надо было идти осторожно, чтобы не споткнуться на ведра с водой или песком, которые стояли перед дверью каждой квартиры.

Наверху, на пятом этаже, Ева остановилась. Я едва уловил ее шепот:

— Послушай, ничего же не видно...

Я тоже шепотом ответил:

— Тише, тише... У хозяйки слух, как у кошки...

— Но здесь так темно...

— Мне говорили, что ночью обычно бывает темно.

Мы тихонько засмеялись, стараясь сдержаться. Затем я отворил дверь в мою меблированную комнату и вздохнул с облегчением.

— Так... теперь мы дома...

Мы вздрогнули, когда закрипела половица, и вошли в комнату. Луна слабо освещала мою мансарду. Ева остановилась на пороге.

— У тебя нет света? — спросила она хриловатым голосом.

— Нет. После налета нет тока.

Я зажег свечу, и мы очутились в желтом кружочке света. Я взглянул в ее лицо. Ее светло-серые блестящие глаза с продолговатым разрезом смотрели неподвижно. И сама она стояла неподвижно.

— Что ты стоишь, как статуя? Садись! У меня здесь не шикарно — мансарда... Надо надеяться, что тревоги сегодня не будет! С затемнением у меня просто.

Вместо одного стекла и так уже картон. А как тебе цветы на столе нравятся? Маки и васильки. При свече красиво, правда? А здесь видишь что? Красное вино, трофейное...

Я достал из шкафа бутылку «Шато неф дю пап» и откупорил.

— Почему ты ничего не говоришь? Ты боишься?

— Да... немножко.

— У меня даже два стакана есть, один для тебя... За твоё здоровье!

Я подошел к ней и подал ей стакан. Мы выпили и посмотрели друг другу в глаза. Свеча бросала колеблющиеся блики на её бледное лицо.

— За твоё здоровье! Какое от него приятное тепло!

— Когда человек вливает в себя вино, ощущение совсем такое, как если бы зимой затопили печку.

Она молчала.

— Ну и ерунду же я несу — вино с углем сравнил.

— Теплее от вина, несомненно, становится, — сказала она. Ей хотелось помочь мне.

— А тебе холодно?

— Немножко.

— Поди сюда.

Она прошла к окну, прислонилась к раме, стояла и смотрела на меня. Я подошел к ней, но не слишком близко. Я усмехнулся:

— Теперь печка разгорелась, огонь так и пышет из твоих глаз. Мне его видно.

Мы говорили очень тихо.

— Да, я хотела тебе сказать, что гектограф завтра надо...

— Тсс... Разве ты забыла, что в личной жизни мы этой темы не касаемся? А ведь здесь мы для личной жизни. Правда?

Она засмеялась совсем тихонько. Затем подошла ко мне, положила руку мне на плечо и шепнула:

— Как странно: страх, затемнение и любовь — все вместе...

— С тех пор как мир стоит, любят при всех условиях — и за кустами жасмина, и в подвалах, и в развалинах, и на чердаках. Нет такого уголка на земле, где бы не любили. Где есть люди, двое всегда найдут друг друга, несмотря на страх и страдания...



Она задула свечу...

Под утро она сказала:

— Ты ничего не заметил? Страх понял, что у нас его карта бита. Я уверена, что теперь он крадется вниз по лестнице. Может быть, завтра он возвратится. Но сегодня ночью мы лежим, позабыв о страхе, на пятом этаже, в поднебесье.

Она тихонько рассмеялась и приподнялась.

— На улице светло. Ночь светлая, и в комнате тоже светло.

— Какая это комната, это просто старый чердак.

— Интересно, любили ли уже здесь другие люди?

— Конечно. Те, кто живет под крышей, любят беспечнее, чем обитатели бельэтажа.

Я вынул картон и открыл окно. В мансарду проник лунный свет. В углу поблескивала печурка. Ева лежала рядом со мной. У нее была очень светлая кожа. Она согнула в колене одну ногу и говорила так тихо, что я скорее догадывался, чем слышал, что она говорит. Внизу под окном шелестел листьями старый каштан. Никаких других звуков. Большой город — наш родной город — будто вымер, будто на всем свете только и были, что мы двое.

— Есть у тебя еще вино?

Я встал и налил вина. Оно казалось черным. Она пила, приподнявшись на локте, в небрежной классической позе. Она отдала стакан и посмотрела на меня.

Издали чуть слышно донеслось волчье подвывание, затем завыло ближе, под конец отозвалась и сирена на ближайшем углу. Неравномерно нарастающее и опадающее пение сирен несло над крышами города, как многоголосый волчий вой, возвещающий массовую смерть. Миллионы людей проснулись и вскочили как встрепанные.

Мы некоторое время лежали неподвижно. Потом она встала, и мы подошли к открытому окну. Я положил руку на ее теплое обнаженное плечо, мы стояли и смотрели в темноту. Она спокойно сказала:

— В бомбоубежище мы не пойдем.

— Почему?

— Тогда твои соседи узнают, что у тебя гостя.

— В наши дни это уже никого не трогает.

Мы услышали, как застрочили швейные машины смерти — маленькие скорострельные пушки. Вслед за ними забухали длинноствольные орудия. Высоко в небо взметнулся луч прожектора и остановился, словно выстрел, повисший в темноте. А вслед за ним заскользили другие, зашарили длинными неsgiбающимися пальцами, обыскивая небосвод, они цеплялись за облака, с недоверием ощупывали их, а затем сходились в один пучок, словно совещаясь, как быть. Потом опять начинали бродить по небу белыми световыми пауками. А другие поодиночке возбужденно бегали во всех направлениях, натыкались на новые, на какое-то мгновение сближались, шушукались и снова разбегались в разные стороны. И все больше и больше металось их по небу, лихорадочно обгоняя друг друга. Вот уже их десятки, сотни...

Ночь озарялась взлетающими лучами прожектора. Я видел их отсветы на Евином лице, обращенном вверх.

Через несколько минут зенитная артиллерия бухала уже со всех сторон, стекла в окнах дребезжали не переставая. А потом наступило самое страшное мгновение: мы услышали многоголосое гудение летящей высоко в небе эскадрильи бомбардировщиков, неудержимо приближавшихся, приближавшихся к нам. Мы были мишенью, да, каждый из нас. Они летели, как полчища одетой в броню саранчи, отовсюду надвигались на наш город мрачными волнами, черной грозовой тучей, несущей смерть. Десятки рождественских елок, как зажженные факелы, освещающие все вокруг, висели над теми кварталами, которым предстояло умереть этой ночью. Все небо было иллюминировано красиво парящими в воздухе небесными телами, светильниками, назначение которых — массовое убийство.

Семь бледных пальцев, выпущенных прожекторами, захватили в свои когти самолет, который делал петли и пикировал, пытаясь уйти от кровавого света. В конце концов самолет был подбит и упал, описав широкую дымную дугу.

В другой стороне города рядами запылали первые пожары. По крышам, то усиливаясь, то утихая, барабанил железный град осколков. Будто толпа гномов в железных башмаках топотала по крышам, торопясь скрыться вдали, пока ее не настигнет новая.

Падающие бомбы можно было различить по звуку: высоко в воздухе начинался тонкий свист, затем свист все нарастал, приближался и наконец, громко взревев, завершался взрывом. Часто бомбы с многоголосым свистом падали на город смертоносными коврами, и тогда в бомбоубежищах, под полыхавшими на поверхности пожарами, погибали люди — засыпанные, раздавленные, превращенные в кашу, сожженные. Одна бомба попала в многоэтажную гостиницу недалеко от нас. Сильная взрывная волна отбросила нас от окна, повалила на пол. Сколько-то времени было тихо. Потом мы услышали слабые крики: «Помогите, помогите!..» И только потом взвилось вверх пламя.

— Им никак нельзя помочь?

— Нет.

— Несчастные люди.

— В любую минуту то же может случиться и с нами.

— И никто не придет нам на помощь?

— Нет; только после отбоя.

Кто мог прийти на помощь во время налета? Осколки железным дождем сыпались на крыши и улицы. Повсюду пылали пожары, земля дрожала от непрерывных взрывов. Сотни трассирующих пуль бороздили тьму, покрывая ее сверкающей сетью. Весь небосвод был заткан сверкающей смертью. Дождем низвергались на землю станиолевые полосы, кружились, вовлеченные в адский хоровод; снегопад серебряных бумажек мешал работе радиолокаторов противовоздушной обороны. Все новые эскадрильи бомбардировщиков летели высоко над облаками, мы не могли обмануться — нам было слишком хорошо знакомо их пенье. А затем, как всегда после налетов, поднялся ветер, сильный, горячий ветер, порожденный стенами огня.

Гроза, взявшая очень точный прицел, оставила после себя сад гигантских пожаров, в котором расцветало множество огненно-красных цветов. Эти цветы росли с ужасающей быстротой и развевались на ветру. Поразительно, какой это был огромный сад, но надо сказать, что и потрудились над ним немало. Сеяли, не покладая рук, воздушные мины, бомбы и зажигалки.

Мы смотрели на горящий город. На какое-то время, когда опасность воздушной волны была уж очень вели-

ка, мы отошли подальше от окна. Теперь мы опять были у окна.

Плечом я ощущал, как дрожит Ева.

— Я принесу тебе пальто, — сказал я.

Когда, отойдя от шкафа, я повернулся к окну, я увидел в озарении пожаров, в оглушительном громе взрывов ее — хрупкое, нагое дитя человеческое у окна на чердаке пятиэтажного дома. Ее тело светилось в темноте, лицо было обращено ко мне.

— Тебе страшно?

— Нет, мне просто грустно.

— Почему?

— Неужели ты не чувствуешь? Сотни людей умирают сейчас около нас, и умирают мучительной смертью.

В небе стояли рядом несколько лучей прожектора, словно бледные цветы — красивые и зловещие — на прямых, как у лилий, стеблях. Вдруг они исчезли, сгнулись, будто призраки, и из клубов дыма, застилающих приосмиревшие в страхе улицы, вырвалось вздувшееся темно-красное пламя.

Мы молча оделись. Зенитки замолкли. Гул бомбардировщиков затих вдали. В разбомбленном городе наступила тишина, но по звону множества пожарных машин, которые теперь мчались во всех направлениях, мы могли понять, какой это был сильный налет. Прошло бесконечно много времени, раньше чем над крышами раздавался протяжный звук отбоя.

Но на рассвете снова была воздушная тревога и снова бомбардировщики сбрасывали бомбы, и теперь горели другие кварталы. В общем эта ночь прошла приблизительно так же, как большинство тогдашних ночей у нас в городе.

Я пошел проводить Еву домой. Она жила недалеко, но нам пришлось сделать большой крюк, потому что дома горели по обе стороны улицы и мы с трудом преодолевали бушевавшее пламя и воздушную тягу, вызванную огромным пожаром. Из боковой улицы с криком выбежала женщина в обгорелых, развевающихся на ветру лохмотьях. Она шаталась и непрерывно кричала: «Эрна... Эрна... Эрна...» Подойдя ближе, мы увидели, что под лохмотьями она голая.

Смешно было смотреть, как две пожарные машины боролись с гигантским пожаром. Струи воды казались

ничтожно жалкими. Но я понимал, что, проявляя такую решимость при полном своем бессилии, пожарные подают пример самоотверженного мужества и человеческой стойкости. Они устали до полусмерти, но ездили от пожара к пожару ночь за ночью. На тех улицах, где не горело, работали спасательные команды. Лопатами, ломами, руками пытались они откопать людей, засыпанных в сотнях бомбоубежищ. Людей, извлеченных из-под развалин, клали на носилки и погружали в кареты скорой помощи, которые громко сигналили и отъезжали.

В эти ночи, когда на улицах полыхали стены огня, когда взлетали на воздух аптеки и молочные и надо было спасать засыпанных и искалеченных, с особой силой проявлялись человечность и мужество. Нас с Евой остановили и позвали на помощь. Мы работали до утра с отрядом, очищавшим улицы от обломков и щебня. Раз мы услышали, как в соседней команде, откапывавшей засыпанное бомбоубежище, кто-то крикнул:

— Чулок!

Люди поспешили отбросить еще несколько кирпичей.

— Детский чулочек!

Со всех сторон лихорадочно принялись за работу.

— Здесь засыпало ребенка!

Наконец ребенка извлекли из-под обломков. Но там, где прежде было лицо, теперь была мертвая маска из раскрошенного цемента, на котором блестело красное, словно отлакированное, пятно. Одной руки не хватало. Ребенка положили к мертвым. Мужчины продолжали лихорадочно работать.

— Здесь кто-то стучит! — закричала какая-то женщина.

— Мы тут! — крикнул один из работающих и спрыгнул в котловину. — Мы тут!

Стук снизу из-под обломков не прекращался. Спасатели работали лопатами и отбрасывали руками камни, а мы очищали улицу. Нас сменили утром, около девяти часов, и мы пошли домой.

На следующий день уже в полдень был первый налет.

Вечером «Серебряная шестерка» играла, как ни в чем не бывало. Мы играли на террасе, так как сад был переполнен людьми, жаждущими отдохнуть, — они сиде-

ли в полной темноте и пили пиво. Мы видели огоньки сигарет, слышали гул разговоров. Кельнерши бежали по усыпанным гравием дорожкам при слабом свете тщательно затемненных лампочек.

Мы играли медленные вальсы, танго, попури и все такое. Ева пела под наш аккомпанемент свою песенку:

*Под крышку часов положи мой портрет,  
Фотографию милой своей.  
Я буду с тобой  
Под военной грозой  
В сырости черных траншей.*

Ее сочинил Мюке, наш доморощенный поэт, Вальтер положил на музыку, и все мы играли незатейливый аккомпанемент.

Ева стояла на затемненной террасе. В скудном свете синих лампочек мы едва разбирали ноты. Но и сегодня еще я вижу чуть белеющий в темноте профиль Евы. Она пела негромко, она пела совсем безыскусно, пела так, как ей пелось, но разговоры в саду замолкли. Слышался только шелест старых лип на ветру да голос Евы. А ведь там в саду сидели усталые люди, человек сто. Сигареты мерцали в темноте, и я знал, что многие часто посматривают на небо. При ясном звездном небе бомбежки бывали редко. Для налетов нужна была слабая облачность. Это знал каждый. Ева пела негромко, и после каждого куплета вставал Вальтер, подымал вверх свою серебристую трубу и играл соло, хватавшее всех за сердце. Он искусно пользовался сурдинкой и его соло звучало, как vox humana \*. Вальтер поразительно владел своим инструментом. Его сольные партии славились. Может быть, то, что Вальтер так хорошо играл, объяснялось переживаемым моментом, общей нашей бедой и страхом тоже. Казалось, что его труба говорит то, чего он никогда не позволял себе высказать. После своих сольных партий Вальтер как-то весь раскрывался. Он оттаивал и смеялся по любому поводу. На подмостках он всегда стоял выпрямившись и высоко подняв трубу. Она отсвечивала серебром, и из нее вылетали мелодии, очаровывающие людей в саду.

---

\* Человеческий голос (лат.).

Евины песни почти всегда имели большой успех. По окончании мы вставали и кланялись публике.

Во время антракта Пауль пошел в сад к знакомым. Мы, все остальные, сидели в артистической и курили махорку, вдруг Ева сказала:

— У нас есть еще одно дело.

Но Пелле твердо сказал, обратившись непосредственно к ней:

— Только без Пауля! Это раз навсегда решено.

— Но я не о листовках, Пелле.

— Тогда о чем?

— О беженцах. Вы же знаете, все о тех двенадцати евреях.

Вальтер бросил взгляд на Мюке, тот встал, приоткрыл дверь и осторожно выглянул. Потом опять закрыл дверь и кивнул головой. Вальтер отложил в сторону трубу и спросил:

— Что за дело, Ева?

— Вы знаете, что операция с карточками в тот раз сошла удачно. Вы знаете, как благодарны нам эти люди. Для них это был вопрос жизни и смерти.

— Для нас тоже, — буркнул Пелле.

— Брось шутить, Пелле! — Ева посмотрела на него долгим взглядом. Потом сказала: — Я говорила вам про того человека, который покончил с собой. Его не похоронили: никто не должен был знать, что эта семья прятала у себя скрывающегося еврея. Он уже не первую неделю лежит на чердаке в наскоро сколоченном ящике.

— Ну так пусть эта семья и уберет его.

— Эта семья — женщина, муж которой попал в котел на Волхове, и две девочки, еще маленькие. С каждым днем увеличивается опасность, что тело будет обнаружено или случайно, или при налете. Женщина уже дошла до точки. Чтобы сами евреи перенесли тело и думать нечего. Это ясно.

Мы молчали.

— Трудное дело, — заметил я.

— Ты прав, — сказала Ева. — Я и не говорю, что мы можем за это взяться.

Мюке встал, подошел к двери, а потом к окну.

Пелле посмотрел на Вальтера:

— Что будем делать?

Вальтер задумчиво курил. Его худое лицо с коротко остриженными волосами производило особенно аскетическое впечатление. Он погасил сигарету и встал.

— Подумаем. После работы задержимся еще немного. Если Пауль тоже останется, придем завтра вечером на часок раньше.

Мы все встали и вышли из артистической. Второе отделение прошло с обычным успехом. Небо было ясное, звездное, и налета не ожидалось. По окончании концерта мы еще постояли, поговорили о всяких новостях. Мы медлили расходиться, пока Пауль не попрощался. Он сказал, что посидит еще немного в саду со знакомыми, и ушел.

Не успел он уйти, как мы все сели поближе друг к другу, а Мюке стал на страже у двери.

— Дело это препоганое, — сказал Вальтер, — но, если мы хотим помочь, другого выхода нет: мы должны его похоронить.

Мы согласились, но, правду сказать, не очень уверенно. Это была необычная, неприятная и опасная задача. Надо было действовать очень осторожно.

— Придется взяться за это дело всем пятерым. Пауль не должен ничего знать. Ева передаст, что мы берем это дело на себя. До завтрашнего дня мы обдумаем, как нам быть. Каждый изложит свои соображения. Завтра придем сюда на час раньше. Согласны?

Тайно убрать и похоронить мертвого в большом городе задача не легкая. Предложения были самые различные: достать санитарную машину, незаметно перевезти его в мебельной фуре или на ручной тележке, проследить, где каменщики разбирают развалины, и открыто днем или тайно ночью перенести ящик в воронку от взрыва, а самим смыться. Мы обсудили все предложения. Санитарную машину пришлось исключить — ни у кого из нас не было близких знакомых среди врачей или шоферов с больничной машины. Ручную тележку отклонили, так же и катафалк и мебельную фуру. В конце концов мы сошлись на небольшом крытом грузовичке. По ходу совещания Вальтер сказал, что знает одного автомеханика.

— Неужели у него есть грузовик?



— Нет, но он работает в гараже, где стоит много разных машин. Если ему заплатить, он, наверное, сделает езду налево.

— А куда мы поедем?

— На восточное кладбище, если только это будет возможно.

— Ночью?

— Нет, я думаю вечером, перед работой, когда стемнеет. Тогда на улицах еще есть движение. А ночью тихо. И легче обратить на себя внимание. Вечером лучше.

— Договорились, Вальтер.

— Кто поедет?

— Думаю, Даниэль и я. Согласен, Даниэль?

— Согласен.

— А Ева с Пелле разыграют влюбленную парочку у ворот кладбища, чтобы отвлечь внимание. Ева, ты передашь той женщине, что начиная с завтрашнего дня она может ждать нас. Мы еще договоримся обо всем подробнее.

На следующий вечер мы с Вальтером пришли в гараж, как раз когда механик отмывал руки песком и жидким мылом.

— Как жизнь, Эрвин?

Он обернулся и с удивлением посмотрел на нас:

— Ты зачем, Вальтер?

— Мне надо бы с тобой поговорить.

У Эрвина было испитое лицо с хитрыми, беспокойными глазами, отливавшими какой-то странной желтизной. Вальтер рассказал мне, что он освобожден от военной службы, так как страдает тяжелым заболеванием печени.

— Сейчас, только покончу с мытьем.

Мы ждали его во дворе, еще мокрым после ливня. В гараже стоял грузовик, покрышки были стерты, капот открыт. Как видно, Эрвин возился с мотором. У вечернего неба было какое-то необычное освещение: блекло-зеленое, переходящее внизу в бледно-розовое.

Эрвин вышел во двор, и Вальтер предложил ему сигарету. Мы все трое закурили.

— Слушай, Эрвин, опять наклеивается одно дельце.

Эрвин сейчас же метнул на меня недоверчивый взгляд.

— С ним все в порядке, полная гарантия, — прибавил Вальтер, кивнув на меня.

— Какое? Налево?

— Ясно. Ты что, думаешь, я член военно-промышленного совета?

— А что надо везти?

— Не товары.

— Так что?

— Нам надо увезти покойника.

— А что с ним стряслось?

— Еврей, беженец.

— Ах, вот что.

— Ну как?

— А куда везти?

— На восточное кладбище на Кроненштрассе.

— Дело верное?

— Иначе я за него не взялся бы.

— Сколько?

— Полсотни.

— Наличными?

— Половину вперед, половину потом.

Эрвин почесал в раздумье шею.

— Кто-нибудь об этом знает?

— Что за вопрос! Никто его не знал, только те люди, которые его прятали. Они будут молчать, понимают, что их по головке не погладят. Просто хочется сделать одолжение знакомой.

— Но только одно — меня в это дело не впутывать. Я тут ни при чем, понимаешь? Я теперь рисковать не могу. Меня уже взяли на заметку, понятно?

— Ясно. Положись на меня. Твое дело сторона. Вот тебе наше слово. Слышишь, Даниэль?

Оба посмотрели мне в глаза. Я кивнул и сказал, что это само собой разумеется.

— Ладно, Эрвин, тогда бери машину и поедем. Через полчаса вернешь ее обратно.

— Уже сейчас?

— А почему нет?

— У меня еще дела есть.

— Отложишь на полчаса свои дела.

— Слушай, приятель, не могу же я...

— Можешь.

— Нужно, чтобы путевка была.

— Да ведь ты говорил, что у тебя есть готовые бланки?

— Так-то оно так, да они для начальника, когда он ездит по всяким делам.

— А начальник здесь?

— Сегодня вечером его нет.

— Возьми один бланк, и дело в шляпе.

— А если старик заругает?

— Побойтся. Он у тебя в руках, сам налево ездит.

— Ну ладно, сейчас возьму.

Эрвин повернулся, сразу решившись, и пошел в гараж. Он мне не очень-то понравился, я сказал об этом Вальтеру. Но тот покачал головой:

— Для таких дел только такие парни и подходят.

Одна из дверей гаража открылась изнутри, и машина задним ходом выехала во двор. С нее соскочил Эрвин и запер гараж. Мы влезли в машину и поехали в центр города, к тому дому, где был спрятан покойник.

Было около девяти вечера. На четвертом этаже мы с Вальтером позвонили в квартиру к Боде.

Фрау Боде, очень бледная женщина, отворила нам сразу.

— Ага, вы за книгами?

— Да.

— Пойдемте, они в ящике на чердаке.

Фрау Боде пустила по дому слух, что конфискованы книги одного ее прежнего квартиранта и что за ними должны приехать.

Мы пошли на пустой чердак, в котором стояли мешки с песком и ведра с водой. Фрау Боде открыла дощатый чулан и посветила в угол под крышей. Там за старым шкафом стоял ящик. По форме он не был похож на гроб. Покойник примостился в нем сидя, в позе, в какой было принято хоронить тысячелетия назад. Мы вытащили этот ящик, выкрашенный в черный цвет. В эту минуту, как и было договорено, появился Эрвин. Фрау Боде посветила ему. Он тихонько шел к нам по темному чердаку. Когда он приблизился, мне стало как-то не по себе. Он принес лямки, мы накинули их на плечи. Потом надели перчатки и подняли ящик. Ящик был сухой, и запах из него шел чуть слышный. Специалисты похоронных дел — единоверцы покойно-

го — тайно обрядили его согласно принятому у них ритуалу. Мы понесли ящик к лестнице. Мы с Эрвином шли впереди, Вальтер, как самый сильный, сзади. Мы даже не заметили, куда исчезла фрау Боде.

Мы спустились вниз по лестнице. В подъезде, когда мы поставили ящик наземь, чтобы отдышаться, вдруг появился представитель власти — толстый и потный «золотой фазан» в коричневом мундире. Очутившись лицом к лицу с тремя посторонними мужчинами, он струхнул:

— Что это здесь за сборище, а? — проворчал он, по очереди обводя нас взглядом своих водянисто-голубых глаз. Я сразу заметил, что он навеселе.

— Никакого сборища — просто мы несем книги в госпиталь, чтобы раненым было что читать.

Вальтер говорил громко, уверенным и по-мужски решительным голосом, который в ту пору импонировал представителям власти. «Золотой фазан» потер нос, испещренный багровыми жилками.

— Дело, дело. Не могут же раненые все время в скат играть. Ну, тогда действуйте, а то, гляди, тревога начнется. Хайль Гитлер! — Он вытянул руку.

А потом грузно затопал вверх по лестнице. Лифт уже давно не работал.

Мы подняли свою ношу, донесли до машины и вдвинули в кузов, задний борт которого был откинут. Вальтер влез в кузов, я закрыл борт. Мы с Эрвином сели в кабину, и Эрвин, не задерживаясь, повел машину. Я заметил, что он трусит. Он не мог ехать быстро: затемненные фары давали мало света, и ему плохо была видна улица. Некоторое время мы ехали по направлению к кладбищу. При зеленоватом свете спидометра мне было видно напряженное лицо водителя. Лицо у него было жесткое, грубое. Вдруг завывли сирены. Эрвин поехал быстрее. Уличные фонари, синие лампочки которых чуть светили, погасли, как по мановению волшебной палочки.

Едва освещенный переполненный трамвай стоял посреди улицы. Его задержали два полевых жандарма. Они требовали, чтобы люди вышли из трамвая и спрятались в общественном бомбоубежище.

— Живо, живо, не задерживайтесь! — кричали жандармы в общую сутолоку. Люди, бледные тени, чуть

видные при свете фонариков, которые держали жандармы, громко ругаясь, шли в указанный дом.

Вдруг Эрвин затормозил. Затем развернулся и помчался назад, но тут же повернул в переулок и остановился.

— Умеете вести машину? — спросил он.

Я ответил утвердительно.

— Слушайте, мне нельзя привлекать к себе внимание. Поезжайте. Я смоюсь.

— Нет, вы должны помочь нам нести ящик.

— И не подумаю.

Он хотел слезть, я крепко ухватил его за рукав и позвал Вальтера.

— Отпусти меня, приятель! Я не подведу, можешь быть спокоен, но чтобы под проверку попасть — этого мне никак нельзя. Есть на то причины. Если что случится, скажете, что взяли машину без спросу.

— Вы никуда не уйдете.

Вальтер стоял у машины.

— А ну его к черту, пусть уходит.

Эрвин, ни слова не говоря, выскочил из кабины и скрылся в темноте. Вальтер быстро влез в машину.

— Давай, давай!

— Эй, постойте! — услышали мы чей-то голос. Затем раздался другой голос:

— Куда вы! Воздушная тревога! Куда вы!

Я дал газ, и мы умчались.

Доехать до кладбища мы уже не могли, это было ясно. Согласно приказу, при воздушной тревоге машины полагалось оставлять на улице, а людям уходить в бомбоубежище. Полиция и дежурные ПВО патрулировали улицы. Оставить покойника в машине тоже было нельзя. Вся наша операция могла слишком легко обнаружиться.

Мы вынуждены были остановиться, снять ящик и где-нибудь его оставить: в воронке или в безлюдном переулке. А там уж пускай полиция занимается его доставкой на кладбище и преданием земле.

Мы старались ехать как можно быстрее по вечерним улицам и обменивались с Вальтером отрывистыми словами. Я затормозил, но не заглушил мотора. Мы соскочили на землю, вытащили из кузова ящик и по-

ставили его около разбомбленного дома. Потом, услышав крики, побежали к машине. Во время ночных тревог за вами следят сотни глаз. Мы помчались вперед, не оборачиваясь, уповая на то, что в темноте возможной погоне не удастся разобрать номер машины. Проехав несколько улиц, мы остановились и поспешили в бомбоубежище.

После отбоя мы отвезли грузовик к гаражу, где работал Эрвин. Мы позвонили у ворот, увидели выходящего Эрвина и ушли. Эрвин поставил машину в гараж. Мы не сомневались, что он не заставит себя долго ждать и пойдет к Вальтеру за остатком обещанной суммы.

Все сошло благополучно.

## 6

---

### ТРИ ЧАСА ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ МИНУТ

Вон едет машина... повернула сюда. Это должен быть он. Кажется, это такси. Остановится здесь? Нет. Проехало дальше... Но нужная мне машина придет. Он будет здесь.

Три часа двадцать пять.

Ждать невыносимо. Закурю.

Сегодня утром фрау Бертольди, у которой я снимаю меблированную комнату, спросила, не перешел ли я на ночную работу. Последнее время я возвращаюсь домой так поздно, что ее муж раз даже проснулся, подумав, что к ним залезли воры.

— Видите ли, фрау Бертольди, я встретил старого знакомого, с которым могу поговорить только очень поздно.

— Рассказывайте, господин Брендель! Уж не влюбились ли вы, ха-ха-ха...

— У вас, дорогая моя хозяйюшка, всегда самое плохое на уме.

— А по-моему, давно пора, господин Брендель, давно пора.

Она поставила на овальный стол поднос с неизменным завтраком — жидкое кофе и две булочки с маслом

и дешевым джемом. Моя хозяйка — дебелая особа с нежным румянцем на сдобном добродушном лице. Бертольди живут неплохо. Муж — администратор в кино. Он человек изворотливый и безличный. Зато Клэр Бертольди в своем роде личность; конечно, она немножко взбалмошная, но при своем ограниченном кругозоре очень решительная и добронравная — так сказать, расплывшаяся в улыбке груди жира, выдержанная в золотисто-розовых тонах. Она любит лакомиться пирожными с кремом и читать романы про любовь. По вечерам она не отходит от телевизора. Разумеется, она читает и Хемингуэя и Голсуорси. А вот с Сартром она никак не может примириться. У нее тоненький наивный девический голосок. Вообще, глядя на нее, создается впечатление, будто у нее, как и у многих добродетельных мещанок, в пышном женском теле под слоем жира кроется девичья душа. Бертольди сравнительно мало пострадали от войны, квартира уцелела, детей не было. Для фрау Бертольди все в жизни сводится к одному — к любви или, лучше сказать, к потребительской эротике, которой нас щедро одарило «экономическое чудо».

Жуя свой безрадостный завтрак, я пробормотал что-то маловразумительное, но она уже села на своего конька.

— Ведь и в романах, и в кино, и в телевизоре все вертится вокруг любви, правда, господин Брендель? Уж поверьте мне. Когда я иду по улице, то всегда думаю: вон те двое там, верно, уже спелись. А ночью... ночью... Вы как полагаете, господин Брендель... откуда все эти дети берутся?

Я ухмыльнулся: понятия не имею.

— Подумаешь, какой невинный младенец! Высмеиваете свою хозяйку. Ну что же, это очень на вас похоже. Нет, вы не зарекайтесь, господин Брендель, не зарекайтесь, вас это тоже не минует. От этого никто не застрахован. Господи боже мой, я тоже, когда молодая была, совсем иначе это себе представляла, гораздо романтичнее... да... Представляешь себе, что больше пыла... больше чувства, не так ли? А на самом деле все совсем иначе, это уж в жизни всегда так. Мой не хуже других, но ему приходится так много работать. Вы думаете, как сейчас живется? Экономическое чудо?

Как бы не так! Работать надо. Даром ничего не дают. Именно сейчас особенно много работы, ведь кинотеатрам приходится бороться с телевидением. Но мой ничего не говорит, ничего. Вы думаете, он вечером рассказывает о своей работе? Ни вот столечко! Как вам это нравится? Только начнется вечерний сеанс, приходит домой и сейчас же за телевизор. И точно воды в рот набрал, ни вот столечко не расскажет, как вам это нравится? Что поделаешь, раз уж он такой. Днем ему со столькими людьми приходится разговаривать и со всеми здороваться. Тоже ведь не так-то легко; а? Вам в конторе легче.

— Ну, конечно, фрау Бертольди.

— Только слушайте, незачем вам так долго по ночам шататься. Неполезно это. Посмотрите, какой вы бледный. Может, вам нездоровится?

— Нет, нет.

И я постарался поскорее уйти из мебелированной комнаты с овальным столом вишневого дерева, уйти от болтливой хозяйки, у которой розовое сдобное лицо сочеталось с сердцем семнадцатилетней девушки, в одиночестве мечтающей о любви.

В конторе заведующий отделом встретил меня кислой миной. Он был моложе меня, изворотлив и нагл, как все эти ловкие карьеристы из породы тех, что подражают шикарным манхеттенским бизнесменам. Он посмотрел на меня бегающими птичьими глазками, поправил свой слишком пестрый галстук и проворчал:

— Отвечая вчера на письма, вы перепутали заказы. Последнее время вы вообще работаете небрежно. И что за вид? Чего вы хмуритесь? Шеф требует, чтобы его команда была веселой, больше keep smiling\*, приятель! Будьте любезны не портить нам в конторе погоды.

Я извинился и сел за свой стол. Правильно, надо работать сосредоточеннее. Мой сосед по столу, Граф, покачал головой и добродушно заметил:

— Слушай, ну зачем тебе надо привлекать к себе внимание? Что у тебя стряслось?

— Ровно ничего не стряслось, Граф.

---

\* Улыбайтесь (англ.).



— Не втирай мне очки. Что-то у тебя неладно. Может быть, заявишь, что болен?

Заявить, что болен... Мысль неплохая. Я решил подумать. Конечно, тогда будет больше времени, и мне не придется после бессонной ночи сидеть весь день в конторе. Но потом я подумал, что сегодня ночью все должно решиться. День тянулся бесконечно долго, пока наконец наступил вечер, затем ночь, и вот я сижу здесь за рулем...

И круглолицему адвокату М. в массивных роговых очках не помешать мне, нет, ни в коем случае! Тот раз, когда он, сидя напротив меня, проглотил таблетку из серебряной коробочки, взгляд у него был жесткий и нацеленный, как у дрозда, который заметил в траве червяка.

— Знаете, сейчас многие приносят жалобы. Но свидетелей нет. Есть у вас доказательства? Нет. Есть у вас свидетели? Тоже нет. Как может прокурор дать ход вашей жалобе, если у вас нет доказательств?

Я сказал, что доказательств хватит, достаточно вскрыть могилы, там есть доказательства, самые что ни на есть вещественные — трупы людей. Я сказал, что в наши дни в Федеративной республике правосудие работает как нельзя лучше и в результате этого вчерашних преследователей не карают за преследования, мало того, иногда их даже награждают; я читал, что начальник самого жестокого среди кровавых судей того времени сейчас получает пенсию, а ведь он возглавлял министерство юстиции.

Господа судьи вынесли решение, что глава так называемого «народного трибунала» не «осознал» в ту пору, что действовал вопреки своим судебским обязанностям. Конечно, он шел по пути, «противному государственному праву», и, между прочим, отдал гестаповцам на растерзание семидесятичетырехлетнего еврея, но старик, вероятно, все равно бы попал им в руки; и что же — министр диктатора и в наше время получает много денег. Такое решение вынесли господа судьи, и это не единичный случай.

Я сказал ему, что читал о процессах, на которых преступники были оправданы или же понесли до смешного слабое наказание. Я сказал, что не питаю особого доверия к правосудию.

Он сказал, что это ничего не меняет, что в каждом процессе истец должен опираться на документальные данные или на свидетелей, иначе каждый, кому вздумается, будет подавать жалобу.

Я ушел. Я стал искать документальные данные. Я писал письма. Я искал свидетелей. Я искал без вести пропавших. Я обращался в разные организации, в отдел по отысканию пропавших. Подал заявление в прокуратуру, она дала ход моему заявлению, но и ей не удалось отыскать ни документов, ни свидетелей. Меня несколько раз допрашивали. Потом посоветовали подождать. Я знал, что в огромном аппарате правосудия есть справедливые, старающиеся выяснить правду судьбы. Но как их найти?

Как-то, когда я сидел в пивной, меня охватило чувство полной беспомощности. Почему невозможно уличить убийцу? Действительно ли это невозможно, или просто этого не хотят? В последнее время часто писали о том, что в органы юстиции просочилось немало нацистских судей и чиновников. Этим объяснялись некоторые приговоры. Людям, которые двенадцать лет приспособлявали свой образ мыслей и свои приговоры к повелениям убийцы, несомненно, было трудно сегодня судить в противоположном смысле.

Конечно, можно комбинировать, истолковывать и подтасовывать. Можно медлить, затягивать или не вмешиваться в ход событий, смотря по ситуации. Можно по-разному понимать обстоятельства дела и по-разному оценивать свидетельские показания. Меня охватило недоверие. Неужели в данном случае затруднения действительно таковы, что нельзя дать ход жалобе?

Я думал о моем круглолицем адвокате.

— У вас нет доказательств, — заявил он. — Без доказательств ничего нельзя предпринять.

На чьей он стороне? Хотел ли он мне помочь? А если мне никто не поможет? Тогда я должен сам себе помочь.

Нет, то, что я задумал, не убийство. Я — орудие справедливости. Если никто на свете не предъявит обвинения и не произнесет приговора этому убийце, если этого не сделает всемогущее правосудие, с тысячами судей, чиновников и тюремщиков, — разве не должен тогда взять инициативу тот, кому известно и какова вина, и

кто виновен? На совести этого человека много убийств. Неужели он может разгуливать на свободе только потому, что у меня нет свидетелей? Почему их нет? Вероятно, они лежат в могиле. Доказательства... доказательства...

Я сам доказательство, я искалечен концлагерем.

Ну, конечно, конечно, они все действуют согласно установленному порядку, согласно закону. Но закон может быть тростью, клюкой или дубиной. Я знаю только одно: он не понес наказания и разгуливает на свободе. А он убийца. Я это знаю.

Я даже точно знаю день, когда он стал убийцей. Это случилось летом во время пятичасового чая с танцами. В саду среди посетителей было много отпускников и раненых с семьями. Я сидел в сторонке за кружкой пива и слушал разговор двух отпускников за соседним столиком.

— ...Тут я уронил руку. Она упала на землю. Тут подбежала собака, но я ее отогнал. А руку мы закопали...

— Он что, русский был? — спросил второй.

— Разве по руке увидишь, за кого она дралась? На войне все руки одинаковые. Только головы разные. За твоё здоровье!

— И за твоё.

— Пиво жидковатое, зато липы цветут. Здесь иногда даже похоже на мир. А ночью как начнется бомбежка, улица за улицей превращается в груды щебня.

— Помнишь Целлера, парикмахера со Штифтштрассе?

— Того, что играл в команде класса Б?

— Да. Убит. На центральном участке.

— Ну, молодая женушка получит теперь пенсию.

— Понятно. Уютно здесь в садике, а?

— Да.

— У тебя в кружке плавает оса... Ты слышишь?

Листва расщепленного грушевого дерева шелестела на ветру. Издалека доносилось пение марширующих солдат:

*Счастлив, кто умеет забывать*

*О том, чего не миновать...*

— Новобранцы. Возвращаются с муштры.

— Попадут на передовые — перестанут петь.

— Видишь, вон там, прямо, девушка из оркестра? Лакомый кусочек, правда? Она поет: «Под крышку часов положи мой портрет». Пусть бы мне подарила свой портрет.

— Все равно, завтра надо уезжать обратно. По сводкам главного командования, Иван всю неделю барабанит по нашему участку.

— Нда, братец, значит, дело дрянь.

— Вот меня и вызывают телеграммой...

— А что, если тебе не поехать? Так или иначе, это скоро кончится...

— Скоро для кого?

Я пошел в артистическую, где мы оставляли футляры от инструментов. В дверях появился Пауль.

— Где Вальтер? — выкрикнул он.

Вальтер удивленно обернулся.

— Я тут. Что с тобой?

Пауль подошел к нему вплотную и громко зашептал:

— Что со мной?.. Вот что: я многое понял. Меня интересует только одно: вы мне тогда нагнали? Вы все? Вы ведете со мной нечестную игру! Это правда, что вы прекратили подпольную работу?

— Конечно, правда! Почему ты вдруг об этом вспомнил? — невозмутимо ответил Вальтер.

— Потому что мне страшно. Если человек хоть раз совершил преступление, думаете, ему и через год не будет страшно?

Глаза его выражали панический страх. Вальтер не потерял самообладания. Он огляделся по сторонам.

— Не кричи так. Кто-нибудь спрашивал тебя о чем-то?

— Нет.

— Да и вообще, что это за разговор о преступлении?

— Это я так, к примеру.

— Странный пример.

— Странный или не странный, а я хочу порвать с вами. Я ухожу, отказываюсь с вами работать. В один прекрасный день, когда вы обо всем даже думать забудете, раздастся стук в дверь... Отпустите меня.

— Ты сам отлично понимаешь, что об этом не может быть и речи. Из такой группы нельзя попросту выбыть, как из футбольного клуба. Если нам в самом деле грозит провал, тебя все равно отыщут и подведут под нож, сколько бы ты ни клялся, что давно разошелся с нами. Нет, тебе уже не выбраться, Пауль.

— Вы за последнее время переменялись — смотрите на меня как на чужака. И если мы взлетим на воздух, никто из вас меня не защитит. Вы будете все валить на меня. Во всем буду виноват я... Я хочу порвать с вами... порвать!

— Ты спятил, Пауль!

— Ничуть я не спятил, это естественная самозащита.

— Что ты имеешь в виду?

— Не хочу попасть под суд, понятно?

— Не ори, Пауль. Надо начинать. Твое вступление.

— Играйте сегодня без меня! — Он захлопнул крышку рояля и выбежал вон, изо всех сил грохнув дверью.

Мы молчали. Наконец заговорил Пелле.

— Ему пригрозили.

— Он сам для нас угроза, — сказал Вальтер.

Мы понимали, что произошло нечто решительное. Это был разрыв, а возможно, и объявление войны. У нас подкосились ноги. Мы не сомневались, что дезертир начнет действовать. Мы же ничего не могли предпринять, не могли защищаться, не могли его спрашивать, убеждать.

Неясно было только, что он сделает. Уедет? Поступит в другой оркестр? Или же...

Лишь позднее я узнал все.

Должно быть, это совершилось тогда же. До того дня он колебался. Вероятно, пережил длительную внутреннюю борьбу. Во всем этом я разобрался задним числом. И вот настал день предательства. Чтобы вынудить признание, гестаповскому комиссару достаточно было изобразить отеческую улыбку и подпустить приветливые нотки в свой обычный довод: «Сами увидите. Так оно лучше будет». Страх — крепкие клещи, он почти из каждого вытянет что угодно.

Я точно представляю себе, что именно, добившись признания, говорил в своем унылом кабинете чиновник,

меж тем как бездушная красотка за пишущей машинкой качала головой...

«Нда, молодой человек, здорово вы влипли... Постарайтесь раздобыть несколько листовок и принесите их сюда. Выясните, где их раздавали, когда, на каких улицах, был ли контакт с другими группами, вообще уточните, что можно. Дайте нам в руки факты!» Все это я представляю себе очень точно. Недаром меня столько раз допрашивали после ареста. В ушах у меня до сих пор звучат эти неумолимые, бьющие прямо в цель голоса, эти медоточивые, вкрадчивые интонации или же зычный бас заплечных дел мастера, когда он вдруг рывкнет:

— Не увиливайте от истины! Вы что-то скрываете от нас! Да, скрываете!

Этой фразой человека донимали целый день. Так или иначе, но гестаповскому комиссару, должно быть, удалось сделать пианиста Пауля Риделя добровольным шпиком. Доказательство этого мы получили полгода спустя. Дело было незадолго до рождества. Городские улицы тонули по вечерам в полном мраке, не видно было сметенных к краю тротуара сугробов снега. В них проваливались, на них спотыкались. Редкие машины двигались с трудом, освещая себе путь узкими щелками фар. В витринах света не было. Только по кашлю, по скрипу шагов, по приглушенным разговорам человек слышал, что он не один пробирается по темным улицам. Мы существовали почти исключительно при затемнении.

В один из таких вечеров мы пришли на свою новую явочную квартиру, помещавшуюся в подвале. Листовки хранились у нас в смежном чулане. Там стоял старый шкаф, в который Пелле встроил второе дно.

Вальтер собирался в этот вечер захватить с собой на конспиративную встречу в районе Тегель шестьсот листовок. Открыв дверь в чулан, он остолбенел:

— Что это, там кто-то есть?

Я еще был в первом помещении, когда услышал шум борьбы. Потом все стихло. Я бросился к двери. В темноте Вальтер и Пелле держали какого-то человека, который отворачивался, пряча лицо.

Я услышал голос Вальтера:

— Попался! Кто это? В темноте не разберешь.

Как тот ни упирался, они поволокли его к двери. Вальтер дал ему пинка и крикнул:

— Выходи на свет, прохвост!

Я прирос к месту и мог только выдавить из себя:

— Да это Пауль! Что тебе здесь надо?

Пауль стоял в подвале, тяжело дыша и щурясь от света. Губы его были стянуты в кораллово-красное колечко.

Вальтер шагнул к нему. Никогда я не видел Вальтера в таком состоянии. Его побелевшее лицо судорожно дергалось. Он остановился перед Паулем и спросил угрожающим шепотом:

— Что тебе здесь надо?

Брови у Пауля полезли на круглый, точно вздувшийся пузырь, лоб. Он ничего не ответил.

— Зачем ты пробрался сюда, как вор?

— Я... я не хотел вам мешать...

— Откуда ты знаешь об этом подвале?

— Я выследил вас. Вы его от меня скрыли.

— Покажи-ка, что ты тут откопал! — Вальтер нащупал взглядом боковой карман Пауля, из которого торчала бумага.

— Ничего, — еле слышно ответил Пауль.

— А что у тебя в кармане?

— Ничего нет... ничего! — Пауль смотрел на него в упор, а левой рукой засовывал бумагу в карман.

Мгновение Вальтер стоял в нерешительности. Его коротко остриженные волосы отливали золотом вокруг лба. Роста он был небольшого, но широк в плечах. Мы знали, что силаща у него огромная. При этом он был скор и решителен. Он сделал шаг к Паулю, тот отшатнулся. Вальтер достал у него из кармана бумагу. Пауль попытался выхватить ее, тогда Вальтер с силой сбил его руку, развернул бумагу и проглядел ее.

— Наша листовка, — беззвучно выговорил он.

Мы обступили Пауля. Все это происходило бесшумно, как во сне.

— Подлец... шпик... предатель! — шептали мы. Но в словах наших почти не было упрека, казалось, мы для себя подтверждаем этот факт.

Все умолкли, когда Вальтер по-прежнему беззвучно заявил:

— Это дело серьезное.

— Откуда я знаю, как это ко мне попало, — вскинулся Пауль. — Понятия не имею. Может, кто-нибудь... Ага, вы мне подсунули ее... Потихоньку!

Вальтер хладнокровно изучал его, как биолог подопытного кролика, которому сделал укол.

— На что тебе это понадобилось?

Все затаили дыхание.

— На что тебе понадобилась листовка? — повторил Вальтер.

— Она попалась мне, когда я...

Вальтер оборвал эти расплывчатые объяснения:

— Пауль, раз в жизни скажи нам правду. Ты хотел нас выдать, да?

Пауль решил перейти к нападению.

— Вы просто спятили!

— Листовка была у тебя в кармане. Кому она предназначалась?

— Я искал ноты Шопена. А когда увидел листовку, мне сразу стало ясно...

— Что именно?

— Вы наврали мне! Вы продолжаете работать тайком. Меня вы попросту провели, как болвана. В этом вы раскаетесь. Вот что. А теперь пустите меня.

— Нет, ты останешься.

— Я позову полицию!

— Берегись!

— Ты мне угрожаешь?

— Мы тебя запрем!

— Ого! Это будет большая глупость с вашей стороны.

— С чьей — мы еще увидим.

— Пустите меня.

Вальтер сгреб Пауля и сразмаху швырнул его в открытую дверь чулана. Затем захлопнул дверь и дважды повернул ключ. Пауль изнутри забарабанил в дверь кулаками.

— Откройте, откройте! Все вы за это поплатитесь. Да, да, поплатитесь! — захлебываясь от ярости, орал он.

Его вопли могли услышать снаружи. Мы переглядывались с тревогой. Вальтер решительно отпер дверь.



Потом дал Паулю такую затрецину, что тот пошатнулся. А когда он отступил, Вальтер снова запер дверь. Мы смотрели на дверь, но за ней все было тихо.

И вот мы, кучка убого одетых молодых людей, молча стояли посреди темного подвала в недрах большого города, медленно разрушавшегося под ударами войны, которая уже была на исходе. Кругом огненным кольцом надвигались фронты, все теснее смыкаясь вокруг столицы. Огни взрывов через горы и реки, опалая пашни и леса, приближались к рейхсканцелярии.

Здесь, зарывшись глубоко в землю, цепляясь за остатки гордыни, свирепствовал оборотень, и многие тысячи его последышей, сознавая, что рушится их рейх, усердно выискивали изменников.

Мы же, кучка безоружных, голодных, но мужественных молодых людей, собравшихся здесь в подвале, ополчились против вооруженных до зубов властителей в расшитых галуном серых мундирах. В наших листовках мы зывали:

«Слушайте нас! Не верьте ни одному их слову! Настанет день, когда вы сами убедитесь в этом. Вы поймете, что жили с закрытыми глазами и не подозревали, что нами правят преступники. Вы будете горько каяться. Проявите уже сейчас свое раскаяние на деле. Помогите нам! Действуйте!»

Кровожадная правительственная система оборотня с клоунскими усиками держала столицу в железных тисках, ревела через бессчетные громкоговорители и гнала на погибель человека за человеком. Но наши листовки оказывались по утрам во многих почтовых ящиках, в вагонах городской железной дороги и под многими дверями, их было много, этих маленьких листовок, и они медленно и бесшумно прокладывали себе путь. Конечно, значительную их часть уничтожали, но уцелевшие нет-нет да и удерживали руку, которая орудовала молотом, пером или винтовкой на пользу оборотня. Мы надеялись, что под влиянием наших листовок не только смолкают выстрелы, но и перестраиваются умы.

Вверху листка стояла фраза: «Бережно обращайся с этой листовкой! Помни, мы рискуем жизнью, чтобы ты это прочел».

Я видел лицо Вальтера, ясное и волевое, как всегда, хотя он изо дня в день по восемь часов простаивал за

токарным станком. А как он, должно быть, уставал к вечеру! Сколько у него бывало конспиративных встреч, о которых мы и понятия не имели. Где было опаснее всего, туда шел Вальтер. Где приходилось туго, там стоял на посту Вальтер. Он всегда отыскивал выход в тех случаях, когда остальные отчаивались.

Вошла Ева. И сразу же спросила:

— Что вы сделали с Паулем?

— Заперли его.

— Вы к нему несправедливы.

— Согласись сама, Ева, что Пауль резко переменялся. Он смотрит на нас глазами чужака, — сказал я.

— Мы сами сделали его чужаком, — тихо вымолвила она.

— И я знаю, кем стал этот чужак, — вставил Вальтер.

— Кем же?

— Гестаповским шпином!

— Не может быть... — Она оглядела нас всех по очереди.

В голосе Вальтера послышались жесткие нотки:

— Почему не может? У нас идет война, беззвучная война на гестаповском фронте. Кто не поступит с возможным врагом как с врагом, тот сам рискует головой. Значит, надо рассчитывать на худший вариант.

— Какой худший вариант? — перебила она.

— Мы его выпустим, он пойдет в гестапо, донесет на нас, и мы сегодня же вечером будем арестованы. Нет. Надо обезвредить его хотя бы на несколько часов.

— Он подымет шум, — заметил я.

Лицо Пелле выражало ледяную решимость, когда он произнес:

— Если Пауль действительно шпиик, его надо убить.

— Убить? Нет. Надо, чтобы он заснул, да покрепче. — Вальтер что-то соображал, потом достал из кармана деньги.

— Мюке, вот деньги, пойдти купи водки, самой дешевой, но побольше. В его стакан ты будешь подкладывать снотворные таблетки. На, держи. — Он достал из шкафа стеклянную трубочку и дал Мюке три таблетки.

Ева в недоумении уставилась на него.

— Что вы придумали? Так знайте: либо он сегодня вечером будет играть, либо я больше у вас не пою!

Она повернулась к выходу. Я хотел ее удержать, но Вальтер сказал усталым тоном:

— Оставь ее, она больше никогда не будет петь у нас. Если он действительно шпик, «Серебряной шестерке» конец.

Я предложил допросить его понастойчивее, чтобы добиться полной ясности.

Вальтер кивнул:

— Мы сейчас приведем его сюда и будем задавать ему вопросы. Следите за выражением его лица. Ты, Даниэль, сделаешь вид, что считаешь его невиновным. Ты, Пелле, будешь считать его виновным. Тогда мы сможем двойко проверить его ответы и выражение лица.

Я вывел его. Он стоял в дверях. Сам бледный, но взгляд зоркий, настороженный, губы стянуты в кораллово-красное колечко. Мне бросилось в глаза, что у него одного из всех нас не был измученный, изголодавшийся вид. Но это, возможно, не имело отношения к делу.

Начал Вальтер. А за ним и все мы стали задавать вопросы, точные, прямые вопросы. Он отвечал. Мюке принес водку.

Вальтер налил всем. Никто не стал пить, кроме Пауля. Это были страшно напряженные часы. Мы сидели вокруг Пауля и непрерывно задавали ему вопросы. Нам необходимо было во всем удостовериться. Растерянность сменялась злобой, ненавистью, изнеможением, голым страхом. Под конец Вальтер вскочил и выкрикнул:

— А я тебе говорю, Пауль, ты шпик!

— Нет.

— Но ты рассказал о нас в гестапо.

— Меня расспрашивали о моих знакомых.

— И ты отвечал!

— А что мне было делать?

Мюке снова наполнил стаканы.

— Успокойтесь! Кто хочет еще?

Пауль выпил до дна. Пот мелкими капельками проступил на его дряблом лице. Вальтер неумолимо продолжал допрос.

— Что ты рассказал о нас? Хочешь, я скажу? Что мы не нацисты, а Ева не арийка. Ты сказал так? Говори, да или нет?

— Но больше я ничего не говорил.

Наступила мертвая тишина. Потом голос Вальтера произнес еле слышно, но очень четко:

— Ты сказал, что Ева не арийка?

— Ну и что ж? Они и сами давным-давно это знали! Налей мне еще, Мюке.

— А про наши разговоры и все прочее ты тоже рассказал?

— Как ты смеешь так обо мне думать?

— Но тебя об этом спрашивали? Припомни хорошенько!

— О чем только меня не спрашивали! Неужели ты думаешь, я хотел вас предать?

— А ты думаешь, каждый, кто предает, хочет предать?

— Так вот... я точно не могу припомнить. Все это ужасно тяжело. У меня голова пошла кругом от их вопросов. А теперь вы меня совсем замучили. Довольно, слышите, довольно. Перестанете вы меня выспрашивать?

— Нет! — крикнул Вальтер.

— Тогда налейте мне еще.

Вальтер стоял перед ним вплотную. Он один продолжал спрашивать. Вопросы и ответы становились все торопливее, все взволнованней.

— Они все знают про листовки, сознайся, Пауль!

— Нет! — взвизгнул Пауль и вскочил. Вальтер схватил его за ладканы и крикнул ему прямо в лицо.

— Сознайся!

— Сознайся... сознайся... Вы меня замучили!

— Слышишь, сознайся!

Они стояли лицом к лицу; глаза Вальтера сверкали грозной силой, беспомощное лицо Пауля дергалось от страха.

— Я хочу выпить...

— Незачем. Ты все сказал.

— А листовки, неужели ты говорил о них, Пауль? — спросил я.

— А что мне было делать?

Я оцепенел от ужаса. Он сознался!

— Ты рассказал им о листовках?

Пауль вырвался. Он не помнил себя:

— Рассказал... рассказал... Вы не знаете, что там делается! Не знаете! Нет, не знаете! Да, я рассказал! Да, да, да! И вы бы тоже рассказали. Вы, вы все! Думаете, там сидят дураки? Им очков не вотрешь. Они обо всем осведомлены. Нам нужно скрыться. Предупреждаю вас, пока не поздно! Вот что! Теперь вы обо всем знаете! Дайте мне выпить.

Он выпил. Потом повалился на стул.

— Мы ведь давно уже врозь, — бормотал он. — А теперь «Серебряной шестерке» крышка... крышка.

Никто из нас не проронил ни слова. Я косился на дверь. Меня удивляло, почему в нее еще не вломился отряд эсэсовцев.

Вдруг Мюке, как тигр, прыгнул к Паулю и, взыв от ярости и отчаяния, принялся молотить его кулаками, но Вальтер его оттащил. Пауль через силу поднялся на ноги и, отдуваясь, стал приглаживать волосы.

— Пойду домой.

Вальтер дал ему пинка, так что он отлетел к двери в чулан.

— К гестаповскому комиссару, да? Нет, ты останешься здесь!

Раскинув руки, Пауль прислонился к стене.

— Прикажешь мне кричать, чтобы сбежалась вся улица? — От страха он не говорил, а визжал.

Вальтер рывком распахнул дверь.

— Ты останешься! — Он втокнул Пауля в чулан. Но тот успел обернуться и выкрикнул, вне себя от страха:

— Задумали убить меня потихоньку, да?

— Увидишь... если не перестанешь шуметь, мы тебя принудим замолчать, так и запомни! — ответил Вальтер и запер за ним дверь.

Кто сам не побывал в таком положении, не может даже вообразить себе наш ужас. Все ясно, сомнений больше нет. Пауль действительно шпик.

Мы смотрели на дверь, за которой он был заперт. Мы долго совещались и не расходились до самого утра. Должен сознаться: мы самым серьезным образом обсуждали вопрос, не убить ли его. Он или мы. Иного выбора теперь не было. А нас было пятеро. Каждый ко-

мандир на фронте предпочел бы пожертвовать одним солдатом вместо пятерых. Это был аргумент Пелле. Но к утру мы приняли другое решение. Перед уходом мы отперли дверь. Он лежал в старом кресле и спал. Он много выпил, да и таблетки оказали свое действие. Тяжелые пепельно-серые веки были плотно сомкнуты, рот приоткрылся во сне, и ярко краснели толстые губы. Он слегка похрапывал. Мы недоверчиво всматривались, спит ли он. Но веки не дрожали. Расслабленное тело безвольно покоилось в старом плетеном кресле. Мы вышли. Вальтер снова запер дверь и оглядел нас:

— Он проспит часа два-три. Да и после этого он не сразу подымет на ноги полицию. Значит, у нас есть время часов до шести. К семи каждый из нас должен покинуть свою квартиру и скрыться.

Мюке собирался выхлопотать разрешение на выезд и отправиться к родителям, но Пелле отговорил его. Никому из нас не следует ехать туда, где его будут искать. Ни к матери, ни к невесте, ни к приятелю... «Серебряная шестерка» должна в ближайшие часы рассеяться, как дым по ветру. Для каждого из нас это был вопрос жизни и смерти.

Приблизительно так выразился Вальтер, как всегда взявший на себя руководство. Я втайне восхищался его собранностью и уверенностью. У Пелле я чувствовал скрытое отчаяние, у Мюке — бессильную ярость. Сам я был взвинчен до предела. А Вальтер был бледен и невозмутим.

Когда мы собрались уходить, он нас удержал.

— Вы не забыли самого важного? — спросил он.

Мы растерянно переглядывались. Невысокий, коренастый и какой-то обособленный стоял он посреди освещенного подвала и покачивал головой.

Потом пошел в чулан и немного погодя возвратился с пачкой листовок, лишь вчера нами отпечатанных. Он положил листовки в папку и взял их с собой.

Потом мы коротко попрощались. Никто из нас не знал, встретимся ли мы когда-нибудь. Мы и не встретились. Только Вальтера я увидел еще раз.

Когда мы вышли на темную улицу, сыпал снег. Было очень, очень тихо.

— Ступай сейчас же к Еве. Все приготовьте и сложите. Я скоро заеду за вами, — сказал мне Вальтер.

— А как же инструменты?

— Нам они больше не нужны. С музыкой покончено.

Я вспомнил, как чудесно он солировал на своей се-ребристой трубе. Он был прав, инструменты могли нао-выдать.

Мы расстались.

Я один пошел по улице. Больше не было слышно ни-чьих шагов...

## 7

---

### ТРИ ЧАСА ТРИДЦАТЬ МИНУТ

Теперь уж он не придет. Нечего и надеяться. Я жду понапрасну. Мне холодно. А вдруг он еще при-едет? Может, он заигрался в карты с собутыльником или заночевал где-нибудь в другом месте?

Не так давно я узнал, что мой сотоварищ по заклю-чению, учитель, проживает в ближнем городке. Я по-дождал его и встретил у выхода из школы. Мы выпили по чашке кофе на террасе ресторана в центре городка. Ветер трепал пестрые скатерти. Где-то пробили башен-ные часы. Перед террасой резвились дети.

— Вот детей... детей мне очень жалко, — промолвил Вернер, когда мы вкратце рассказали друг другу, как сложились наши судьбы. Вернер, будучи политическим заключенным, в ту пору не раз с холодным спокой-ствием давал отпор тюремщикам. Теперь он был болен и удручен. Долгое время он сражался за справедли-вость в таком же деле, как у меня, и потерпел поражение.

— Правосудия добиться невозможно, — утверждал он. — Когда арестуют невиновного, сам он защищать себя не в состоянии. В лучшем случае ему выдадут лист писчей бумаги. А адвокату в лучшем случае позволят заглянуть в дело. Друзья на воле пальцем не поше-велят, считая, что предосудительно вмешиваться «в ходе следствия». А после того, как вынесен приговор, хлопот-ать уже поздно. Сам видишь, механизм налажен вели-колепно.

— Значит, в ходе следствия в дело вмешиваться нельзя?

— Иногда даже необходимо. — Он допил кофе. Его пепельные с проседью волосы развевались на ветру. Я смотрел на него: лицо сохранило благородство черт, но как-то огрубело. Годы наложили свой отпечаток, а горечь обиды стянула его в бескровный кулачок. Бледный, немощный сидел передо мной тот, кто когда-то за решеткой показывал пример твердой как алмаз веры в победу. Голову он все еще держал гордо, но ему грозила опасность захлебнуться в тоске. Разочарование все равно что свинцовое грузило.

— Несчастные дети... — шептал он. — Их растят в полном неведении. Ты заметил, что убийство носит интеллигентную маску? — продолжал он. — Согласен, делаем исключение для примитивных убийц. Они всего лишь продукт деятельности определенного механизма. Но кто изобрел самый механизм, кто наладил его, кто за ним надзирает? Каждый механизм состоит из тысячи отдельных колесиков. Прежде чем достичь современной стадии, этот механизм — детище идеологов и технологов власти — совершенствовался столетиями. И весь секрет в том, что он существует поныне. Злодеяния замалчивают, организаторов массовых убийств оправдывают. Вот, например, женщина-врач, которая экспериментировала на заключенных в концлагере женщинах, пока они не умирали в страшных муках. Эта женщина-врач живет преспокойно. Вот врач-педиатр, который умертвил полсотни детей. Он живет и в ус не дует. Вот вам убийцы в офицерских мундирах, в судейских мантиях — все они процветают. Злодеи и преступники живут среди нас и благоденствуют. Убийство носит две маски: одна из них — тупая рожа палача-исполнителя, другая — интеллигентный облик, за которым скрывается жестокая направляющая воля. Необходимо помнить об этом.

Я возразил, что некоторые непонятные приговоры нашего послевоенного правосудия объясняются свободой судопроизводства.

— Удельный вес правосудия зависит от удельного веса судей. А свобода без справедливости — бедная вдовица.



— За время пребывания в тюрьме тебе не случилось слышать о человеке по имени Пауль Ридель? — без перехода задал я волнующий меня вопрос.

— Пауль Ридель? Гм...

Он задумался, потом медленно покачал головой. Закурил сигарету и выпустил клуб дыма в теплый осенний воздух.

— Нет.

О других участниках «Серебряной шестерки» он тоже ничего не слышал.

Он назвал другие имена и спросил, не слышал ли я когда-нибудь о них. И мне пришлось ответить отрицательно.

Так мы и сидели на террасе кафе под низким облачным небом осенних сумерек: двое бывших заключенных, двое свидетелей, но один не мог подтвердить свидетельство другого. Каждый знал свой случай несправедливости и ничем не мог помочь другому.

Его лицо выражало безнадежность. Мне было жаль его.

Я возвратился обескураженный. И здесь я не нашел путей к правосудию. Пришлось остаться при автомашине, в которой я и сижу сейчас.

Надо выйти из нее и немного размяться, ноги у меня совсем заоченели.

Я иду до перекрестка, иду медленно. Очень приятно двигаться. Но вдруг меня охватывает тревога, что он тем временем свернет сюда и я опоздаю. Я бегу обратно и занимаю свое место за рулем. Дверцу я не захопываю, а прикрываю осторожно, чтобы не всполошить соседей.

Подожду еще полчаса. Если он за это время не придет, я буду здесь дежурить и следующую ночь, дожидаясь этого шпика...

Да, он был шпиком. В ту памятную ночь мы узнали об этом. И стали лихорадочно действовать. «Серебряная шестерка» распалась. Пауля подпоили и усыпили. Предполагалось, что он проспит не меньше часа. Затем ему понадобится время, чтобы собственными силами или с помощью соседей выбраться из подвала. Правда, гестапо он мог уведомить и по телефону. Во всяком случае, до шести часов нам ничто не грозит — так мы рассчитали. Но мы рассчитали неверно. Во всех наших

соображениях Пауль играл ведущую роль, и все расчеты мы связывали только с ним.

Но гестапо не собиралось ставить свои операции в связь с каким-то ничтожным доносчиком. На совещании у начальства, вероятно, было решено ликвидировать «Серебряную шестерку» до рассвета. Около пяти часов утра несколько больших лимузинов выехали со двора главного полицейского управления и при свете затемненных фар стали отыскивать нужные им улицы окутанного предрассветной мглой большого города. В машинах сидели шоферы, гестаповские комиссары и писари, вооруженные и предвкушающие успешный лов.

Об этом мы тогда ничего не знали. Мы разбежались в разные стороны, я бросился к Еве и коротко объяснил ей положение.

— От всего отказаться? — спросила она.

— От всего, даже от своей фамилии.

— Сейчас же?

— Мы должны уйти через пять минут. Возьми с собой только сумку.

В комнате у нее порядок был отнюдь не образцовый. Когда я пришел, она спала. На ней была только ночная рубашка. Сама она была томная, разгоряченная сном. Никогда она не казалась мне таким прекрасным цветком, как сейчас, когда, еще не вполне очнувшись, откидывала со лба свои каштановые волосы. Она быстро оделась. Сон как рукой сняло.

— Куда мы поедем?

— С первым трамваем — за город. Вальтер проводит нас до лодочной станции на озере. А там решим.

— Вы все обдумали, — сказала Ева.

— Когда они придут, надо, чтобы они не нашли ни одной фотографии, ни одного документа — ничего.

— А платья?

— Пусть остаются.

— Я возьму только самое необходимое... — Она говорила деловым тоном, каким спрашивают, который час, но руки у нее тряслись, когда она засовывала белье в саквояж. Несколько раз она бегала в другой конец комнаты за каким-нибудь предметом, который уже успела уложить.

— Лишь бы не оставить никаких бумаг. Остальное неважно.

— А ноты?

— Оставь их здесь.

Она застыла на месте. Только сейчас она все поняла по-настоящему. Она посмотрела на меня через плечо. Никогда не забуду выражения отчаяния на ее личике. Она приоткрыла рот, как будто хотела закричать. Губы у нее побелели, из расширенных глаз смотрел первозданный ужас. Я видел, что у нее сию минуту вырвется крик.

Но закричать она не смела. Проснулись бы соседи. Крик в ночи чреват последствиям. Она не закричала. Она сдержалась. Но все ее лицо кричало. Кричало безостановочно, пока трясущиеся руки бросали в чемодан письма, бумаги и предметы домашнего обихода.

В эти минуты я любил ее сильнее, чем когда-либо. Личико у нее было такое маленькое, что его могла прикрыть мужская ладонь, но выражало оно целую бездну муки.

— Ноты тоже?

В этом вопросе заключалось ее искусство, песни, музыка, концерты, Моцарт, свет, покой — вся радость мира.

Я кивнул.

Пока она торопливо складывала вещи, внизу в темноте к нашему дому уже приблизились три машины с вооруженными людьми из отдела IVa. Машины были большие — лимузины. В каждой сидело по двое — шофер в форме и гестаповец в штатском, как я понял позднее. Они, разумеется, знали, что в доме нет черного хода. Об этом они были осведомлены заранее. Ночь стояла холодная, снежная и безлунная. Они подкатили медленно; бесшумно проползли на резиновых лапах мимо дома и затормозили как бы невзначай. Все это происходило в зловещей тишине. Вертикальные световые щелки второй машины нащупали входную дверь. Третья машина слегка отстала, словно не желая участвовать в предстоящих событиях. В темноте застыли три тени, три машины остановились на определенном расстоянии друг от друга. Но не успела затормозить третья машина, как одновременно распахнулись все двери. Четыре чело- века в длинных пальто подбежали к парадному,

отперли дверь универсальным ключом и гуськом поднялись по лестнице, шагая грузно, проворно и беззвучно.

У входной двери зазвенел звонок. Это был уютный квартирный звоночек. Мы замерли. Мы переглянулись, не двинувшись с места. Кто это может быть? Для Вальтера еще слишком рано. Значит, полиция? Нет, она никак не могла уже быть осведомлена. Позвонили второй, третий раз. Уютный звоночек трезвонил резко и продолжительно.

Потом мы услышали, что открылась дверь из спальни фрау Клейн. Где-то близко послышался ее ворчливый вопрос:

— Кто там?

Мужской голос неразборчиво буркнул:

— Дежурный по противовоздушной обороне. Откройте!

— Да что случилось?

Пыхтя, возилась она с ключами. Я услышал, как она отодвигает засов и как открывается дверь. Услышал я и мужской голос, который спрашивал полушепотом:

— Где комната фрейлейн Ланг?

Я едва успел добежать до двери и повернуть ключ.

— Полиция... — прошептала Ева.

Я был ошеломлен. Этого я никак не ожидал, не думал, что нас могут захватить здесь, у Евы.

В дверь застучали кулаки.

— Фрейлейн Ланг... Откройте... Полиция.

— А, черт!.. Вот уж... — пробормотала Ева, уставясь на дверь. Она подняла правую руку, как будто держала в ней револьвер. Она и выстрелила бы — это было написано у нее в глазах.

— Опоздали! Как это может быть?

Не успел я оправиться от потрясения, как Ева отбросила крышку чемодана и бесшумно распахнула окно. Выхватив из чемодана письма и бумаги, она швырнула их в темноту. Потом неслышно прикрыла окно и захлопнула чемодан.

— Откройте!.. Полиция!

В дверь теперь дубасили громко и угрожающе.

Я бросился к окну, надеясь найти путь к бегству. Но увидел я только черноту ночи, в которой кружили

снежинки. Кроме бездонной глубины, ничего нельзя было разглядеть.

— Откройте! Сейчас же откройте!.. Полиция!

Ева спросила как будто со сна:

— Да!.. В чем дело?

— Откройте немедленно! — и кулаки яростно забарабанили в дверь.

Ева оглянулась на меня. Я кивнул. Она отперла дверь.

Коренастый, быстрый в движениях мужчина, не вынимая правой руки из кармана пальто, оттеснил ее на середину комнаты. Остальные ввалились следом. Один сейчас же направился к радиоприемнику и проверил, на какую он настроен волну.

— Вы фрейлейн Ланг?

— Да.

У коренастого в велюровой шляпе было землистого цвета лицо и короткие усики. Увидев меня, он прищурился.

— Ага, еще одна птичка! Ночной визитер, да? Наручники!

Пока один надевал на меня наручники, остальные открыли шкаф и пошарили в нем, разворотили постель и сунули руки под матрац, заглянули под абажур лампы, откинули ковер — посмотреть, нет ли чего под ним. Видно было, что практика у них большая. Несколько минут комната Евы была арендой безмолвной, но бурной деятельности. Неподвижны были только мы с ней и гестаповский комиссар, который следил за нами и давал остальным указания.

— Посмотрите на шкаф! Под столом нет тайника?

Затем он повернулся к Еве:

— Сложите в чемоданчик ночную рубашку и самое необходимое... Где ваш паспорт?

Ева схватила свой чемоданчик.

— У меня нет паспорта.

— Ах, да, вы не арийка!

Вскинув голову, она посмотрела ему прямо в глаза:

— Долго это протянется?

— Не волнуйтесь. Все быстротечно — даже «навечно».

Один из обыскивавших подошел с пишущей машинкой. Комиссар поднял клеенчатый чехол и осмотрел машинку.

— Ага, верно, это она и есть. Это вы на ней печатали воззвания?

Ева печатала воззвания на другой машинке, которая была надежно спрятана в какой-то конторе.

— Нет, — ответила она.

— Лжете. Думаете, это вам поможет? Не надейтесь, деточка! Из «Серебряной шестерки» мы сделаем кровавый нуль. Можете заранее остричь волосы, чтобы оголить шею.

— Она невиновна! — громко выкрикнул я. Вальтер мог прийти с минуты на минуту. Необходимо было предостеречь его. Я закричал еще громче:

— Она невиновна! Что вам нужно от нас? Вы вовсе не из полиции! Вы налетчики! Спасите! Помогите!

Я бросился к окну. Жестокий удар по лицу на мгновение ослепил меня.

— Вам это не кажется подозрительным, начальник? Парень хотел кого-то предостеречь. Верно, тут еще кто-то есть.

Двое пошли в другие комнаты. Я слышал, как скулит за стеной фрау Клейн. Один вскоре вернулся и отрицательно помотал головой. Нас повели, мы стали спускаться по лестнице.

— Живее! — прошипел гестаповский комиссар.

Внизу Еву посадили в первую машину, меня — в последнюю. Все три машины тронулись. Но они только отъехали от дома и остановились в разных местах. Фары выключили.

Шофер швырнул меня на левое заднее сиденье. Там были вделаны еще и ножные кандалы. Он защелкнул их вокруг моих лодыжек. Затем уселся впереди, вытащил свой увесистый полицейский пистолет, направил его мне в грудь и заявил:

— Посмей только пикнуть — я мигом заткну тебе глотку. Понял? Со мной шутки плохи.

Я кивнул.

Второй гестаповец не сел с нами. Он нырнул куда-то в темноту.

Дом, где нас схватили, не был мне виден. Машину поставили в обратном направлении. Я понял, что совершил ошибку, когда звал на помощь. Гестаповцы явно поджидали Вальтера. Все мои чувства были напряжены до предела.

Вскоре я услышал снаружи какой-то шум. Должно быть, появился Вальтер. При нем ли велосипед? Вдруг раздался пронзительный крик:

— Вальтер... Уходи... Полиция!

Голос Евы оборвался. Я услышал топот. По-видимому, бежало несколько человек.

Сидевший передо мной водитель ткнул меня дулом в грудь и злобно прорычал:

— Только пикни... и тебе каюк!

— Стой... ни с места,.. Полиция!

Топот бегущих ног, кто-то прыгнул где-то рядом. Но весь этот шум шел не с улицы, а из развалин наискось от нашего дома. Посыпались камни. Должно быть, это бежал Вальтер.

И вот уже совсем вблизи окрик:

— Стой... ни с места... Стой!

И другой голос издалека:

— Живо... Стреляй в него!

А затем раздались выстрелы, пять громких выстрелов почти через равные промежутки. Я понял, что последний попал в Вальтера: короткий крик боли, и все стихло. Снова скрип шагов и протяжный мучительный стон. И вдруг я опять услышал какой-то топот. Среди развалин карабкались люди — это были гестаповцы. По лицу водителя, сидевшего напротив, мелькали вспышки карманных фонарей, которыми гестаповцы освещали развалины.

Но вот послышался возглас:

— Он тут. Я его держу, начальник.

Громкий топот подбитых гвоздями сапог.

— Вот он, мерзавец! Встать!

И раз за разом удары по чему-то мягкому. Они его били. Я услышал, как они переговариваются вполголоса. Потом они вынесли его на улицу, и до меня снова донесся его стон, такой надрывной, какого я никогда не слышал. Вот подъехала машина. Вальтера втолкнули в нее. После этого к нашей машине подошел чиновник в штатском, испытующе посмотрел на меня и безмолвно сел рядом с шофером. Машина тронулась.

В эту минуту нас обогнал первый лимузин, в котором сидела Ева. В глубине кузова я смутно различил ее бледное лицо. Но вот она наклонилась, повернулась в мою сторону и чуть заметно кивнула. В тусклом свете

зимнего утра сквозь боковое стекло ее машины я разглядел, что она пытается улыбнуться. Затем машина с нею скрылась из глаз.

О тюрьме и обо всем там пережитом я распространяться не стану. Я провел девять месяцев в одиночном заключении в полутемной камере, которую освещала защищенная сеткой тусклая лампочка над дверью. Из допросов того гестаповского комиссара, который нас арестовал, мне стало ясно, что он в курсе всех наших дел. Он знал о шкафе с двойным дном, в котором мы хранили листовки. Он знал, когда мы начали подпольную работу и когда ее прервали. Он предъявил мне фотокарточки Пелле, Мюке и Вальтера. Только фотографию Пауля он мне не предъявлял.

Обо всем этом я подробно рассказал адвокату. А он твердил одно и то же. Это все разговоры... Свидетели где? Где письменные доказательства?

В кабинете гестаповского комиссара письменных доказательств было изготовлено в избытке. Их печатала на машинке смазливая секретарша. Стопка росла с каждым допросом. Все окончательно раскрылось на заседании чрезвычайного суда. Я увидел, как ввели свидетеля Пауля Риделя. Я услышал, что показал на суде главный свидетель Пауль Ридель. Услышал, собственными своими ушами услышал. Неужели и этого мало? Он выдал нас, выдал всех. Председательствующий протянул одну из наших листовок и спросил его; их ли изготовляли подсудимые? Пусть посмотрит внимательно... И Пауль подошел поближе, он внимательно осмотрел листовку.

— Да, — подтвердил он.

— Читайте вслух, — приказал судья. У него были багровые, воспаленные веки и глаза попугая — с серой пленкой, злые, желтые, как янтарь.

И Пауль начал читать. Читал он как автомат, но в голосе чувствовалась затаенная дрожь. Два раза он судорожно глотнул. Он читал без всякого выражения, однотонно, запинаясь, точно школьник на уроке:

— «Всем миролюбивым гражданам... Чем скорее прекратится заведомо проигранная война, тем больше



будет спасено человеческих жизней. Это преступная война. Надо положить конец безумию...»

— Довольно, — прервал его судья. — Государственная измена налицо. Кто из подсудимых причастен к изготовлению этих листовок? Обдумайте свой ответ. Так кто же?

Пауль поднял голову, посмотрел на знамя со свастикой, висевшее над судейским креслом, и выговорил шепотом, который, однако, был явственно слышен в пустом зале:

— Все.

— Все... — повторил судья и прикрыл глаза серой пленкой. — Хорошо. Можете идти, — благосклонно добавил он.

Все. Это означало смертную казнь для всех. Я сам это слышал, господин адвокат, смертную казнь, господин прокурор!

После этого в зал суда ввели Вальтера. У него было худое, бескровное, больничное лицо. Коротко остриженные волосы золотились. Я знал, что у него две огнестрельные раны. Он ковылял, опираясь на палку. Пауль остановился. И даже вежливо пропустил его. Я увидел, как он посторонился, и понял, что тут дело не в одной только вежливости. Вальтер не ускорил шаг и прошел мимо Пауля, как мимо тумбы. Тогда Пауль отвернулся и вышел, пошатываясь, как больной. А Вальтер, опираясь на палку, дотащился до судейского стола. Там он сделал над собой усилие и выпрямился.казалось, он стоит совсем один в обширном зале суда, в который сквозь готические окна падает оранжевый вечерний свет. Но в зале затерялось еще около десятка человек — судьи в красных мантиях, стража, подсудимые и за столом, неподалеку от двери, гестаповский комиссар, закулисный режиссер этого спектакля.

Председательствующий некоторое время перелистывал заключение следственных органов. Стояла мертвая тишина. Затем он перегнулся через стол.

— Подсудимый Хайнике. У нас здесь записано ваше признание. Я приказал еще раз ввести вас и еще раз повторяю свой вопрос. Он имеет решающее значение для приговора. В период следствия вы упорно утай-

вали имена. Считаю долгом подчеркнуть, что чистосердечное признание пойдет вам только на пользу... Итак, кто, кроме вас, участвовал в заговоре?

Мутные глаза попугая смотрели на подсудимого, как на верную добычу — со скукой и равнодушием.

В зале опять некоторое время стояла мертвая тишина. Потом послышался негромкий голос Вальтера:

— Я все делал один. — И он повторил: — Совсем один.

Председательствующий резко повернулся и пошептался с другими судьями. Огненный солнечный блик внезапно упал на тяжелые складки его мантии. Затем он опять перегнулся через стол и сказал корректным тоном, почти не повышая голоса:

— Даю вам последнюю возможность: обдумайте хорошенько свой ответ. Ева Ланг — кстати, она ведь не арийка — печатала листовки? Да или нет?

Ответ прозвучал немедленно и очень четко:

— Она даже не знала о них.

Тут справа заорал обвинитель. На носу у него были очки, а остроконечный, типичный для нацистских оборотней, лысый череп побагровел от бешенства. Из всех выкриков я запомнил только один:

— Это низкая ложь! Наберитесь мужества и скажите правду! Вы ничтожество и трус — вот вы кто!

Вальтер повернулся в ту сторону, где красовался облаченный в пурпур обвинитель, долго смотрел на него и спокойно сказал:

— Я не был и не буду гестаповским прихвостнем.

За этим последовали смертные приговоры Еве, Вальтеру, Мюке, Пелле и мне.

Меня перевели в другую тюрьму, где я мерз круглые сутки. Самый страшный враг заключенного не голод, а холод. Я мерз целые месяцы, днем и ночью.

Но пока я дожидался своей участи, бомбежки в воздухе становились все сокрушительнее. Каждая ночь превращалась в крошечный ад. Последнее время бомбежки бывали и днем. Весь город после непрерывных налетов пылал. Чердаки проваливались в подвалы. Целые городские районы превращались в сплошные руины. Огонь пожирал жилые дома, церкви, дворцы и судебные учреждения. Однажды я узнал через кальфактора, что сгорели многие судебные дела. Я стал взволнованно

допытываться, не попало ли и дело «Серебряной шестерки» в их число. Он обещал навести справки. Дежурный младший надзиратель время от времени наведывается в суд по делам. Он потихоньку помогает чем может, и готов осторожно порасспросить кое-кого из служащих при суде. Уже через несколько дней мне сообщили, что наши дела погибли вместе с приговорами. Я вздохнул свободнее. Что теперь с нами будет?

Кальфактор сказал мне, что в верхах царит полная неразбериха. Пожалуй, у меня есть надежда на спасение.

Моим спасением оказался концлагерь. Относительно Вальтера, вероятно, сохранилась пометка, где был указан вынесенный ему приговор. Или же один из оставшихся в живых судей о нас забыл, а его запомнил — конечно, из-за его смелых ответов. А, может быть, его казнили и до того, как сгорели дела. Так или иначе сохранился следующий потрясающий документ. Мне показали его впоследствии родители Вальтера. Это счет судебных издержек, который я помню наизусть:

«...По делу Вальтера Хайнике, токаря по металлу, сына мастера Отто Хайнике, род. 11/XI—22 в Берлине, осужденного за государственную измену:

Налог на смертный приговор — рейхсмарок . . .	300
Почтовые сборы, согл. § 72 военного судебного уложения . . . . .	2.70
Сбор для оплаты адвоката . . . . .	81.60
Расходы, согл. § 72 В. С. У., по содержанию в предварительном заключении с 24/XI—43 по 28/III—44, итого 96 дней по 1,50 . . . . .	144
Расходы по содержанию в тюрьме с 29/III—44 по 8/V—44, итого 40 дней по 1,50 . . . . .	60
Расходы по приведению приговора в исполнение: а) исполнение приговора . . . . .	158,18
Почтовые расходы по пересылке счета судебных издержек . . . . .	0,12
<hr/>	
Всего к уплате . . .	746,60

А в приписке родителям был указан срок уплаты: не позднее двух недель.

Чего ж вам еще, господин адвокат! Правда, в документе не проставлено имя Пауля Риделя...

Нет, мне не требуется других документов — я исполнитель, который не нуждается в документальных данных и не взывает налога за смертный приговор. На расходах по содержанию в тюрьме я тоже сэкономил. Я преследователь.

Конечно, вы поступаете так, как должны поступать, господин прокурор, но и я тоже, я тоже.

## 8

---

### ТРИ ЧАСА **СОРОК** МИНУТ

Хоть бы он наконец приехал! Моя машина весит тонну. Она подхватит его и швырнет вверх. Он полетит на мой радиатор и будет за него цепляться. На какой-то миг взгляд его упрется в ветровое стекло, и за ним внезапно возникнет воплощение беспощадной кары. С воплем отпрянет он прочь. И скатится на землю. Последнее, что я увижу, будут его растопыренные, хватающие воздух пальцы, а затем чудовище в тонну весом раздавит его.

Машина подпрыгнет раз, другой, и на темной улице останется неподвижный кровавый комок в обрывках одежды, отвратительный бесформенный клубок с вывернутыми конечностями, покрытый блестящими красными пятнами, которые постепенно смывает мелкий дождик. Мне бы хотелось, чтобы дождь хлестал осколками гранат и расколотил этот комок, стер в порошок, уничтожил его, как были уничтожены те, другие.

А я уеду. Несчастный случай, да-с. Шофер скрылся? Все предусмотрено. Я уплачу штраф, я сяду в тюрьму. Только одного я не сделаю. Не скажу полиции, что убийство совершил с умыслом. Не доставлю прокурору удовольствия завести новое дело. Не хочу, чтобы он заявил, глубокомысленно кивая головой: за всяким преступлением следует наказание. Неправда. Не наказанных преступлений все равно что песчинка на берегу моря. Но вы закрываете глаза на преступления.

потому что преступники столько времени командовали вами. Ры не сводите концы с концами. По-вашему, виновными часто оказываются казненные. А вы, господин прокурор, не потому ли вы отклонили жалобу на шпика Риделя, что были прокурором уже и тогда, что в своих приговорах вы утверждали несправедливость, которая тогда называлась правом? Ну как? Был такой грех, да? Приходилось поневоле, верно? И вы с жаром ратовали за несправедливость? Случалось, что да? Но, разумеется, скрепя сердце? А сейчас вы не видите юридических оснований, увы, увы? Вы не заметили, что пожатие плечами стало основной акцией правосудия? Свидетелей нет? Но ведь обходились же вы без свидетелей, довольствуясь одними приказами?

Нет, милостивый государь! К вам я не приду с повинной. Раз вы отказываетесь начать правое дело в защиту жертв, так не удастся вам и завести дело против меня, против мстителя. Я уклоняюсь от вашего правосудия. Я его не признаю. У меня свое правосудие, оно защищает тех безвинно умерщвленных, испустивших дух под пытками в подвалах, тех, погибших в жестоких муках, для которых нет ни справедливости, ни свидетелей, ни судебной защиты.

Сегодня ночью Пауль Ридель будет прикончен, как дикий зверь в лесной чаще. Охотник тут, наготове.

Неподалеку остановилось такси. Это он. Меня слепят фары. Слышен смех. Их двое — он и она.

Черт возьми! Если он не один, все пропало. Но он ли это? Они приближаются. Такси разворачивается и проезжает мимо. И парочка не спеша проходит мимо. Она раскрывает зонт. Они удаляются, до меня долетает их болтовня:

— Нет, не смей так говорить...

— Да почему же?

— Ни один приличный кавалер так не скажет.

— Что ты, детка, кавалеры и не такое говорят...

Взвизгивание, дружный взрыв смеха, и вот они уже свернули в переулок. Это был не он. Буду ждать дальше. В концлагере я научился терпению. Пробыл урочный час. Я ждал его со дня капитуляции, когда распахнулись ворота лагеря. Убийцы рассеялись по всему свету. Они заранее запаслись подложными документами — настоящими паспортами на фальшивое имя. В общей

сумятице и разрухе, как по мановению волшебной палочки, исчезли мундиры, нацистские ордена, гитлеровское приветствие, палачи, охранники, убийцы и шпики.

Зато распахнулись ворота лагерей, каторжных и других тюрем, и целая армия несчастных заполонила дороги Европы. Одним из них оказался я.

Мои поиски длились долгие годы. На развалинах городов создавались первые организации, предпринимавшие поиски в европейском масштабе. Начало этим поискам положили надписи мелом на стенах развалин: «Вернер, Эли, мы у дедушки», «Сообщите что-нибудь о себе, мы поселились у Дрейеров».

Я тоже искал. В газетах стали печататься списки разыскиваемых. Я тщательно изучал их. Радио включилось в эту кампанию. Я слушал его сообщения. Все связи были разрушены, родственные узы порваны, семьи уничтожены или разбросаны по свету. Все разыскивали отцов, братьев, матерей, детей, солдат и пропавших без вести, раненых, заключенных.

Разыскивали и виновных. Я искал Пауля Риделя.

Я пересмотрел множество картотек и списков и оттоптал ноги, ходя по прокуратурам и полицейским управлениям.

Я узнал, что не сохранилось никаких сведений ни об одном из участников «Серебряной шестерки». Это еще больше ожесточило меня. В течение долгих лет я все свои силы вкладывал в поиски виновного. Но ничего не мог добиться. Я разменивался на мелочи, шел по ложным следам, падал духом и с удвоенной энергией возобновлял поиски, прочитав, что пойман какой-нибудь преступник, врач-убийца, подручный палача, преступный чиновник.

Я усердно изучал газеты, чтобы узнать, нет ли в них имени известного мне шпика. Случайно мне удалось набрести на след, — неясный, почти неуловимый след. В деле одной разгромленной подпольной организации промелькнуло его имя. Гестаповский чиновник показал, что этот субъект все усерднее исполнял возложенные на него поручения и так ублаготворил гестаповское начальство, что из обыкновенного шпики превратился в штатного тайного агента, специалиста по борьбе с внутренними врагами государства.

Затаив дыхание, изучал я эти скудные сведения. Мне ясно представлялось, как он с видом доброго дядюшки скромненько пристроился на площадке затемненного трамвая и подслушивает разговоры. И если озлобленному отпускинику случалось отвести душу насчет войны, должно быть, он на ближайшей остановке делал тайком знак эсэсовцу или полицейскому. А то выслеживал рабочего, который встретился с другими рабочими или же резался в скат со старыми приятелями по профсоюзу и они под шумок вели неподобающие разговоры. А шпик в следующее же воскресное утро выдавал всех четверых, после чего следовало четыре смертных приговора.

В другом послевоенном деле я нашел показания членов религиозного кружка молодежи, которые недавно приняли в свой кружок полноватого блондина по фамилии Вебер. В протоколах отмечалось, что по разговорам он был радикальнее всех, а три месяца спустя гестапо разгромило кружок, трое юношей попали в концлагерь, а двоих казнили. Участники кружка показали, что он великолепно играл на рояле, и все они почти не сомневались, что выдал их именно он. Но дальнейшие следы полноватого блондина терялись в неизвестности.

Несомненно, он направлял свой указующий перст на определенные окна в затемненных фасадах многих и многих домов, а также на людей, мерзнувших в обшарпанных вагонах и с испугом поднимавших головы, когда во время долгой стоянки пассажирского поезда дверь купе открывали двое в мундирах и говорили:

— Полиция. Предъявите документы.

И после многозначительной паузы, во время которой происходила придирчивая проверка всех бумажек, раздавался приказ:

— Следуйте за нами. Без шума. При попытке к бегству будем стрелять.

И людей гнали по перрону, а в сторонке, должно быть, стоял Пауль Ридель и складывал губы коралловым колечком, и никто не подозревал, что этот полноватый блондин причастен к происходящему. Все это я представлял себе очень ясно. Мне удалось набрести только на беглые упоминания. Но сколько трудов угодливой ищейки скрывалось за ними? Я словно воочию видел все это и не сомневался, что каждый раз после

успешного выполнения своих шпионских обязанностей Пауль Ридель, воротясь домой, опускался на стул у пианино и наигрывал томные триоли, какое-нибудь адажио, исполненное черной меланхолии, и при этом нещадно педалировал. Он находился под непосредственной защитой власти. А что может быть вернее и надежней, особенно если власть предельно жестока и сильна? Немудрено, что Пауль чувствовал себя вполне уверенно. Как умильно сияло, должно быть, его мучнисто-бледное лицо, когда он входил в казенный кабинет гестаповского комиссара и докладывал: «Господин комиссар, все в порядке, завтра в девять вечера у них назначена встреча в садике при пивной «Старая Бавария». Обычно они приходят на день и на час раньше, чем условлено. Этот фортель они придумали для пущей безопасности. Они соберутся все четверо».

На его белом, круглом, вздувшемся, точно пузырь, лбу играли отблески настольной лампы в кабинете начальника.

А тот клал на стол карандаш, благодушно смотрел на Пауля своим снайперским взглядом и рычал: «Дело в шляпе! Ату их!»

А на следующий вечер садик при пивной «Старая Бавария» оцепляли и в подвалы гестапо поступало пополнение, а вскоре к тысячам других прибавлялись четыре новых мертвеца. Но тогда мертвецов не считали. И Пауля это, конечно, ничуть не трогало. Он вообще людей недолюбливал, исподтишка творил свое темное дело и, должно быть, частенько являлся в кабинет гестаповского начальника доложить о своих успехах:

— Так и есть, господин начальник, эта старуха — еврейка. Я ее видел. Она прячется на чердаке, на улице не выходит и только изредка открывает слуховое окошко.

— Мы ее оттуда выудим. Сейчас как раз отправляется партия в Освенцим, — вероятно, отвечал в таких случаях начальник.

— А как быть с теми, кто ее укрывал?

— Ридель обо всем подумает! — смеялся начальник. — Ему мало тех, кого прятали, подавай ему и тех, кто прятал. Что ж, на здоровье! Сколько их всего?

— Семья из трех человек.



— Ну, одному заведомо смертный приговор, а остальным концлагерь. Ступайте, ликвидируйте весь кагал.

Так оно, верно, и бывало. Конечно, я не могу это доказать. Гестаповский комиссар покончил с собой после войны. Но я так и вижу, как Пауль Ридель звонит из телефонной будки:

— Господин начальник, бежавший сидит в кафе «Ринг», около входной двери, справа. Он в очках, худой, небритый. На нем коричневый костюм.

И в телефонной трубке квакал голос начальника:

— Не выпускайте его из виду! Посылаю к кафе «Ринг» дежурную машину.

Могло быть и так:

— Я обнаружил двух дезертиров, — сообщал Ридель по телефону. — Они скрываются в подвале на Арнсвальдштрассе девятнадцать.

В трубке слышался ответ:

— Сейчас же направляю туда полицейский автомобиль. Не выпускайте их из виду.

А то еще Ридель неслышно прошмыгивал в кабинет начальника, весело теребил свои усики и, улыбаясь, объявлял:

— Завтра с утра можете их накрыть. Вся семейка находится в Норддорфе, Амсельштрассе, одиннадцать. Двое взрослых, трое детей.

И начальник вздыхал с облегчением:

— Наконец-то попали на след! Отлично! Завтра с утра...

Возможно, я чересчур даю волю воображению. Но как иначе могло это происходить, скажите, как?

Я немножко знаком с тамошними порядками, меня часто допрашивали в тех самых кабинетах.

Чем дальше, тем, несомненно, успешнее действовал Ридель.

— Господин начальник, капеллан находится в церковной ризнице.

Или же докладывал:

— Господин начальник, трое рабочих...

Или сообщал по телефону:

— Обер-лейтенант все еще спит в сорок первой комнате...

Это были такие же люди, как мы. Они тоже подняли голос против войны или против террористического режима. А из Пауля Риделя, несомненно, выработался образцовый осведомитель, не то что какой-нибудь доносчик от случая к случаю, нет — прожженный шпик-профессионал. Результатом его трудов были мчащиеся к месту действия гестаповские машины, топчущие по лестницам жилых домов отряды карателей, окрики: «Стой! Ни с места!» Выстрелы и кандалы, суды и казни. Он выслеживал, он доносил, он давал показания, и стоило ему куда-нибудь ткнуть пальцем, как туда же направлялись дула револьверов. Но все это уже недоказуемо. Мертвые безмолвствуют, а охотники за черепами исчезли или умерли.

Я не выпускал доносчика из поля зрения. Я заклинал толстяка-адвоката М. помочь мне. И вот однажды он уселся за письменный стол в своем служебном кабинете, подвинул к себе папку с документами, взял из серебряной коробочки таблетку и сказал:

— Итак, могу вас порадовать, господин Брендель. Мы кое-чего добились. — Он раскрыл папку, просмотрел какую-то бумагу и взглянул на меня поверх темных очков. — На процессе бывшего государственного советника Редера из имперского управления государственной безопасности последний показал и удостоверил, что в его ведомстве в течение трех лет работал некий Пауль Ридель. В качестве тайного агента.

— Наконец-то!

— Стоп! Не увлекайтесь!

— Что ж, он отрекся от данных показаний?

— Нет. Но, во-первых, нам нужно не менее двух свидетелей. А, во-вторых, он постарается смягчить свои показания, если мы его возьмем за бока. К тому же чисто осведомительская деятельность не наказуется. Тут надо найти какое-нибудь преступление. Кстати, этот субъект Ридель давал показания по делу Редера. Он, конечно, клялся в полнейшей непричастности. А как вы докажете обратное? Можете вы доказать, что деятельность Риделя в гестапо носила преступный характер?

Я вскочил и стукнул ладонью по столу:

— Да я же своими ушами слышал его показания на заседании чрезвычайного суда!

Адвокат насупил белесые брови, поправил массивные очки.

— Возможно, но сейчас бы он все это опроверг. Документы пропали, судьи умерли. Тогдашние свидетели тоже пропали без вести. Как ни жаль, но придется поставить крест на этом деле. Я долго думал и пришел к такому выводу.

На его физиономии, непропорционально маленькой по сравнению с крупным шарообразным черепом, впервые появилось выражение безнадежности. Он неподвижно сидел за столом в элегантном светло-сером костюме и смотрел на меня.

— Ни в коем случае! — закричал я. — Это совершенное безумие! Оставить на свободе убийцу, который работал так чисто, что ни одного свидетеля не осталось в живых!

— Это ваше мнение. А на суде часто выясняется, что истцом руководила ненависть или, скажем иначе, индивидуальное предубеждение. У нас богатый опыт, у судей, у адвокатов, а также у прокуроров, да, и у них! Нередко правосудие пытаются превратить в орудие личной мести... Я не хочу отнести это к данному случаю, я только констатирую факты. Но это и вынуждает судей к сугубой осторожности.

В его тоне я уловил скрытое недоверие.

— Но ведь с этим можно бороться.

— Разумеется. И одной из мер является требование представить свидетелей, не менее двух благонадежных свидетелей. По-вашему, это неправильно? — резко спросил он. Последние слова прозвучали как свист косы, сверкнувшей во ржи.

— Нет, нет, нет... но должно же быть исключение для особых случаев. Времена были столь необычные, что ни один законодатель не мог их предусмотреть.

Адвокат снял темные очки и окинул меня тусклым взглядом.

— Можете вы добыть свидетелей или нет?

— Не могу, вы это сами знаете! — в бессильной злобе крикнул я. — Это все бюрократизм! Я требую справедливости!

Он невозмутимо взглянул на меня и ответил сухо:  
— А я адвокат и требую свидетелей.

Весь дрожа от ярости, я вскочил и закричал:

— По городу разгуливает убийца, а судьи пожимают плечами. Но если ни один суд на земле не желает помочь жертвам, я им помогу. Я уничтожу убийцу.

И сразу водворилось молчание. Адвокат поднялся. Тучной громадой возвышался он над столом. Папку он держал под мышкой, а тут внезапно швырнул ее на дубовую доску стола так, что она соскользнула ближе ко мне.

— Значит, вы будете прямым продолжателем того, против чего тогда боролись, — заговорил он. — Неужели вы этого не сознаете? Вы подменяете право произволом!

Я сам испугался того, что открыто высказал впервые, и ответил:

— Правом ведают люди, очень часто те же люди, которые тогда, по приказу, отстаивали несправедливость.

— У вас крайне односторонняя точка зрения.

— Верно. У меня и может быть только одна точка зрения — точка зрения жертв. Верьте мне, эта позиция очень обостряет зрение.

Мы стояли у стола друг против друга, обитатели разных миров. Переживания, мысли, взгляды — все у нас было разное, возможно, даже противоположное. Он выпрямился, в голосе его зазвучали решительные ноты:

— Короче говоря, пока существует правосудие, обвинения как такового для приговора недостаточно.

— Но всего этого вполне достаточно, чтобы вынести приговор правосудию, — в бешенстве выкрикнул я.

Он перегнулся через стол, оперся на него обеими руками и, выдвинув нижнюю челюсть, произнес с оттенком угрозы в голосе:

— Выслушайте меня внимательно, господин Брендель: если этот самый Пауль Ридель внезапно умрет, случайно, разумеется, знайте, перед вами у стола стоит человек, который понимает, что здесь имело место убийство.

— Этот человек — вы?

— Да, я. Я вас предостерегаю, и помните: в вопросах правосудия я шутить не люблю.

— Я тоже, господин адвокат, я тоже...

— Вот вам мое последнее слово, господин Брендель. Достаньте свидетеля, иначе я решительно прекращаю...

Но я уже не слушал. Я убежал из его кабинета. Я был глубоко потрясен тем, что выкрикнул в пылу спора. Как? Я намерен уничтожить убийцу? Я — своими руками? Что за дерзновенная мысль! А святость человеческой жизни? Святость жизни существует в благочестивых книжках, но отнюдь не в запятнанной кровью действительности. Те времена научили меня, что жизнь большей части людей гроша ломаного не стоит. Да, конечно — на фронте, в концлагере, в городе во время бомбежки, в лагере для военнопленных! Но ведь здесь-то, сейчас тоже фронт, оставшийся от фронта котел, в котором мы сидим — он и я, уставаясь друг на друга с первобытной ненавистью. Ридель должен умереть, но что его убьет? Выстрел, нож, несчастный случай? Да, преднамеренный несчастный случай. Эта мысль не покидала меня с тех пор и до настоящей минуты, когда я сижу за рулем машины...

Кстати, поиски мои увенчались успехом. Я нашел того, кто судил нас. Я нашел К., бывшего председателя суда. Организация лиц, преследовавшихся при нацизме, собрала о нем подробные сведения.

Я держал в руках листок из картотеки и тщательно изучал его. Карьера обычная: референдарий, штурмовик, затем перешел в нацистский автомобильный корпус, ассессор, судья, член военного суда, после войны, как сочувствующий, зачислен в ведомство юстиции, ныне член земельного суда в М., недалеко отсюда.

Я поехал в М. В здании суда я долго блуждал по коридорам, разыскивая зал, в котором вновь думал увидеть К. за судейским столом.

Наконец мне сказали, что обычно он председательствует в зале заседаний номер три. Я потихоньку открыл дверь с дощечкой «для публики» и вошел. В голлом, грязно-зеленом помещении почти не было народа. Перед скамьей подсудимых стоял низенький круглоголовый человек с физиономией карлика и непрерывно говорил. Судья время от времени вставлял короткие вопросы. Это был не К.

Оказалось, что я пришел слишком рано. Что ж, можно подождать. Я столько уже ждал, что отвык от

нетерпения. Когда я очутился среди публики, той своеобразной категории людей, которые наводняют залы суда, чтобы насладиться зрелищем преступников, чужого отчаяния, гнева и слез, когда я очутился среди этих женщин с холодными глазами и хмурых мужчин, я вспомнил, с какой огромной терпимостью, с какой снисходительной добротой относятся многие нынешние судьи к преступным деяниям недавней диктатуры и как редко карают их.

Здесь разбиралось не политическое дело. Речь, по-видимому, шла об убийстве. Во всяком случае, во время короткой перепалки с подсудимыми это слово употребил прокурор, укрывший свое злобное детское личико за массивными роговыми очками. Но подсудимый твердил свое. Низенький, седой, стоял он перед судейским столом. Физиономия карлика непрерывно и неожиданно меняла выражение. Лихорадочная патетическая жестикация сопровождала его защитительную речь. Тоненьким слабым голоском обращался он к судье, точно строчил на швейной машинке, а судья внимательно изучал его, не прервав ни разу, как и все остальные участники, видимо растроганные бесхитростным рассказом о горестной человеческой судьбе. Подсудимый сделал театральный жест и энергично потряс головой:

— Нет, нет, господин судья, совсем это было не так... Да и нож на кухонном столе я увидел за секунду до того, как его всадить. Все остальное — выдумка. Ведь показывает же вам направление удара, что лезвие вонзилось справа вверх... И он не вымолвил больше ни слова. Просто лежал у моих ног, а они все отстали от меня, подхватили его и понесли, и уж только когда дверь закрылась, я услышал, как они там топчут и галдят. А я вдруг остался в кухне совсем один и услышал, как кто-то ужасно тяжело дышит. Оказалось — это я сам. А нож для хлеба был совсем чистый, только у черенка чуть вымазан красным, самую чуточку. Я, помнится, еще подумал: все это враки насчет крови, которая стекает с ножа, враки из романов. Я подставил его под кран и ждал, чтобы пришла Анна. Я крикнул: «Анна... Анна...» — а она все не шла. Наверно, за туфлями побежала, подумал я. Откуда мне тогда было знать, что все меня предали — и Шмидтман и остальные. И вдруг, когда я держал нож под краном,

мне стало очень страшно, я и закричал: «Анна... Анна...»

Я подумал: будь здесь в кухне моя Анна, она бы меня побранила и мне от этого стало бы легче. Мне нужно, чтобы со мной поговорили поостроже. Но так со мной говорить я позволяю только тем, кто мне мил. Чужим — ни-ни. Анне я позволяю. Она, знаете, так умеет сказать, что человеку не обидно. Одернешь ее, бывало... «Придержи ты язык, Анна, слышишь!.. Придержи язык!» А она знай свое мелет. И вдруг откинёт этот волос со лба и ноздри раздует. Тут уж я вижу — пора, братец, сматываться, и я хватаю фуражку с крюка. Женщине надо дать передышку, чтобы она утихомирилась, вот я и ухожу, а когда вернусь — суп стоит на печке, а она лежит на скамье. Там она и спит. А я сплю в коридорчике на раскладушке. До того дня все шло как по маслу, я никому Анну в обиду не давал. Ну, конечно, она не красавица, да и как быть красивой при такой бедности и когда день-деньской работаешь швейей. Но сердце у нее, скажу я вам, милостивые государи, чистое золото, и в доме никогда ни пылинки. За что бы Анна ни взялась, все у нее ладится, — руки у нее спорые, вот что. Посадит она салат — он непременно взойдет, изжарит картошку без сала — не картошка будет, а объедение, положит тебе руку на голову — и головной боли как не бывало. Вот какая у меня Анна. Стоило мне сказать: «Послушай, Анна, слышишь, поют?» — и она слышала, а все другие, олухи, ничего не слышали. Уши-то у них дерьмом забиты.

Да, а потом, как я стал читать газету, оно и накапало: по белому краю вдруг забегали человечки. Посмотрел я на потолок — а там их ужас как много. Ростом не меньше стула, и собралось их ужас как много... Я даже Анну перестал видеть. А потом, как они навалятся все на меня, конечно, мне пришлось обороняться. Нелегко было с ними сладить. Под конец я стал орудовать кулаками и цветочными горшками — тут они отступили. Когда я их прогнал, моя Анна жалела меня и нянчилась со мной, как мать с малым ребенком. Очень уж я был взбудоражен. Она и холодные полотенца прикладывала мне ко лбу, и поила меня валерианкой, и все шептала мне: «Миленький, миленький». Никогда она раньше так меня не называла. Мало-помалу все обо-

шлось. Я глядел в оба, чтобы человечки опять не прошмыгнули к нам на кухню. А вечером Анна вдруг говорит, что ей надо уйти. Потом, смотрю, она снимает пальто и все сует взад вперед, а потом опять надела пальто и притихла. Погладила меня, поплакала, так что покраснел нос, и тычется мимо двери. Наконец выбралась и ушла. А я тем временем сижу в кухне, свет не зажигаю и слежу, чтобы не наполнили человечки. Вдруг дверь как распахнется, как вскочат в нее два дюжих молодца, да как схватят меня своими белыми ручищами. Я обороняюсь изо всех сил и кричу. «Анна! — кричу я. — Анна!» Тут-то я и увидел на столе нож и пырнул того молодца.

Скажите, ради Христа, а вы бы не так поступили, милостивый государь? Представьте себе на минутку, что вы сидите в темной кухне и вам очень страшно. Сделайте милость, не сажайте меня в тюрьму. Отпустите меня домой, сделайте такую милость. Да, правда, домой мне больше нельзя. Это была ведь ее кухня, а я ей, этой женщине, в жизни не прошу, что она меня так подло предала. Я-то думал, она пошла за туфлями, а она, оказывается, все время стояла за дверью и была заодно с этими молодцами и все повторяла: «Да, господин доктор... хорошо, господин доктор».

А когда подъехала полицейская машина, она как закричит, как уцепится за меня — целую комедию разыграла. Все это чистое притворство, милостивые государи. Посмотрите на нее — сидит как ни в чем не бывало. А ведь это она виновата, что я сюда попал. Пусть все знают, какая она двуличная. А если рана не опасная для жизни — я душевно рад. У меня этого нет, чтобы кому-то желать зла. За что же сажать меня в тюрьму?

Заключение врачебной экспертизы было очень кратким. Подсудимый был направлен в психиатрическую больницу для выяснения его вменяемости.

Но прежде чем его вывели из зала, Анна, сидевшая в первом ряду, поднялась и подошла к нему, вся дрожа, прижав к губам носовой платок. Она посмотрела на него заплаканными глазами и прошептала: «Альфред... Альфред...» Но он смотрел на нее тупо и равнодушно, как на пустое место, и не узнавал ее.



Тут ему сделал знак надзиратель и увел его, и он пошел туда, где надо пройти много дверей и ни на одной нет дверной ручки.

Но мне-то предстояло иметь дело не с беднягой, обреченным прозябать на теневой стороне жизни, нет, мой противник провел свою жизнь на солнечной стороне.

Я вышел из зала номер три. И осведомился о судьбе К.

Нет, на этой неделе у него не будет заседаний. Я отыскал в телефонной книжке его адрес и поехал к нему.

Когда я добрался до района загородных особняков, уже совсем стемнело. К. занимал увитый плющом обширный дом типа виллы посреди большого сада, скорее даже парка. Некоторые окна были освещены. Чугунные ворота открыты настежь. Перед гаражом стояла машина, освещенная сильной электрической лампочкой. Шофер орудовал шлангом и щеткой и меня не заметил.

Встретившая меня горничная чуть прихрамывала. Ее краснощекое лицо расплылось в улыбке, когда я сказал, что старый знакомый хочет повидать господина К. Она исчезла и вскоре возвратилась.

— Пожалуйста, — сказала она и пошла вперед. Она провела меня через гостиную, обставленную на старинный лад: массивная мебель, библиотечные шкафы и рояль. Гостиная выходила на большую полуосвещенную террасу с натянутой маркизой. За столом в одиночестве сидел К. и при свете настольной лампы, защищенной красноватым шелковым экраном, просматривал пухлое дело. Он поднял голову, шурясь, как все близорукие люди. Я сразу его узнал. Это были те же, хорошо мне запомнившиеся глаза попугая, желтые, как янтарь, и холодные.

Я назвал себя и приблизился к нему, а горничная ушла. Он встал и, оказавшись наполовину в тени, недоумевающе смотрел на меня.

— Где мы с вами встречались? — Голос был прежний, корректный, бархатный и звучный.

— В третьей палате чрезвычайного суда.

Лицо его было полностью освещено — оно сразу приняло замкнутое выражение. Веки на миг опустились.

Когда он снова поднял их, в его взгляде я прочел злобу. И тон стал ледяным. Ростом он был выше меня и по-прежнему строен. Седеющие волосы тщательно зачесаны назад. Вид у него был барственный. Узкая, аристократической формы голова, надменное лицо. Только левое веко все время подергивалось. Одет он был в вельветовую куртку. Я видел, что он обдумывает, как бы поскорее и без шума выдворить непрошеного гостя.

Кругом было очень тихо, только чуть слышно журчал дождевальная аппарат, разбрызгивая влагу по газону. Водяная завеса временами вспыхивала на свету лампы и, вращаясь по кругу, переливалась всеми цветами радуги.

— Что это значит, милостивый государь?

— Помните, вы мне вынесли приговор по делу «Серебряной шестерки»? Нас обвиняли в государственной измене.

Помнить-то он помнил, но это воспоминание было не из приятных.

— К сожалению, я слишком занят, милостивый государь...

— Да меня вовсе не интересует мой приговор, меня интересует совсем другое...

— Тогда, пожалуйста, покороче. Мне надо работать.

Он сделал было шаг по направлению к своему плетеному креслу, но остановился, как бы размышляя.

— В этом деле фигурировал доносчик.

К. подумал. Настороженное выражение исчезло с его узкого лица.

— Доносчик?

— Да. Его звали Пауль Ридель.

— Так в чем же с ним дело?

— Он был главной опорой обвинения. Помните, смертные приговоры были вынесены на основании его показаний.

— Возможно.

Он вел себя очень умно, оставляя все вопросы открытыми, пока не выяснится, какой оборот примет разговор. Так или иначе, его лично не трогают. Дело касается кого-то другого. Он сел и поднял на меня свои холодные злые глаза.

— Почему вы не сядете?

Я сел. Его руки беспокойно двигались по столу. Он схватил с пепельницы тлеющую сигару, пыхнул раз другой и выпустил клуб дыма. Он размышлял. Резкие контрастные блики падали от красноватой лампы на его лицо, придавая одному его глазу какую-то дьявольскую неподвижность.

— Вы сказали — Пауль Ридель?

— Да, музыкант, пианист, полноватый блондин.

— У меня не осталось никаких материалов. И судебные протоколы, насколько мне известно, тоже не существуют.

Это ровно ничего не значило. У него дома могли храниться личные заметки, да и протоколы он мог припрятать, когда начался развал. В те годы чьими-то стараниями таинственно исчезали документальные улики или незаметно изымались из досье компрометирующие листки. Подспудная активность играла в те годы важную роль, и не менее важен был ее итог — подбеленная и подлатанная невинность.

— Очень обидно.

— Да, это сильно затрудняет сейчас всяческие расследования.

— Вот именно. Но, может быть, вы просто запомнили Риделя?

— Вас ведь я тоже не узнал... Вы были причастны к этому делу?

— Да.

— Понятия не имею.

— Мне был вынесен смертный приговор.

— Вот как. — Он снова положил сигару на пепельницу. Слова «вот как» прозвучали тихо, как вздох. Отенок мужского сострадания в его голосе был расчитан на эффект.

— Смертные приговоры были вынесены всем, кроме Риделя. — Я говорил мягко, без тени упрека.

— Вы же понимаете, в те времена предусматривались особо строгие кары. Для нас это было обязательным. Мы ничего не могли поделать. Как ни жаль, но это так.

— Конечно, конечно, не могли.

— Вы себе не представляете, чего мне это стоило.

Я молчал. Может, он разговорится. И он разговорился.

— Для человека моего склада тяжелее всего было выносить такие приговоры и... оставаться при этом человеком. Ведь случай с вашей подпольной группой не был единичным, были и другие... Так или иначе, мне очень нелегко давались подобного рода приговоры. Впоследствии, при денацификации это нашло многократное подтверждение... Потом передо мной даже извинялись. Я никогда не упоминал об этом, но для вас делаю исключение, потому что вы лицо причастное — нет, что я!.. пострадавшее. Так сказать, для очистки совести. Вообще-то мы, судьи, чаще всего были на вашей стороне.

На сей раз «вот как» произнес я.

Его лицо сияло благородством в красноватом свете настольной лампы. Глаза попугая пристально смотрели на меня из-под пленки.

— Я был бы вам крайне признателен, если бы вы постарались подавить в себе враждебные чувства в отношении меня, буде таковые у вас имеются. Поймите всю сложность ситуации, зависимость нашего положения и железную необходимость. У судьи был один выбор — либо безоговорочное послушание, либо концлагерь. И если бы я отказался произнести такой приговор, это бы все равно сделал мой преемник. А в них недостатка не было. Нет, нет, к таким вещам нельзя относиться опрочечиво.

— Ну, конечно, конечно.

— Кроме того, примите во внимание еще одно обстоятельство, о котором сейчас забывают. Время было военное. В любой другой стране вас тоже признали бы виноватым. И, надо полагать, повсюду сочли бы уместной такую меру наказания. Смею вас в этом уверить.

— Да, конечно, вопрос только в одном, господин юстиции советник: за что сражались народы.

— Ну, мы-то сражались, чтобы спасти свой домашний очаг и оградить от опасности отечество. Не правда ли?

— Нет.

— Что?

— Я сказал — нет, и больше ничего.

— Вы придерживаетесь иного мнения?

— Да.

— Как это возможно?

— Чтобы оградить свое отечество, незачем вторгаться в отечества других людей — во Францию, Норвегию, Польшу, Россию, Грецию и прочие страны. Их можно насчитать не меньше дюжины. Значит, в итоге это была война завоевательная, не правда ли?

Молчание. Мягкий вечерний ветерок шелестел листьями деревьев. Из соседнего сада донесся сонный детский смешок. Мне почудилось, что на террасе стало темнее.

У К. был озабоченный, притворно озабоченный вид.

— Вы говорите, его звали Пауль Ридель?

— Да.

— Нет, не могу припомнить.

— Может случиться, что вам придется свидетельствовать под присягой.

— Я всегда готов способствовать выяснению истины.

По его виду я понял, что теперь он постарается уничтожить в себе, замуровать, начисто истребить малейшие воспоминания о Риделе. Я понял, что он немедленно пустит в ход всю свою изворотливость, я понял, что он по-прежнему готов выносить те приговоры, каких от него ожидают.

Я поднялся.

— Мне очень жаль, я надеялся получить от вас кое-какие разъяснения.

Он стоял передо мной в учтивой позе, статный и осанистый. Левый глаз дергался, правый сверлил меня своей неподвижной желтизной.

— Я чрезвычайно огорчен, что память мне изменяет. Но столько я тогда провел такого рода дел и столько потом было других событий, что при всем желании я ничего припомнить не могу. Все мы только люди, не правда ли? Но я не пожалею сил, чтобы помочь, чем смогу, особенно в таком прискорбном случае, как ваш.

Он подошел ко мне. Окруженные набрякшими веками неподвижные глаза попукая устрашающе надвинулись на меня.

Он протянул мне руку с теплой сердечностью. Но я не подал ему руки и отвернулся. В темноте сада журчал про себя дождевальная машина. Я прошел сияющую огнями гостиную и захлопнул за собой парадную дверь.

С этим покончено.

Он, несомненно, знал о Риделе. Он мог быть свидетелем, но он молчал. Много позднее я прочел в газетной корреспонденции, что К. когда-то приговорил к смерти женщину, мать четверых детей, за то, что во время кампании «зимней помощи» она присвоила шерстяные вещи стоимостью в тридцать марок. Женщина была казнена.

Когда К. судили, выявились и другие случаи незаконного убийства. Он принадлежал к числу кровавых судей, которые выносили смертные приговоры даже в тех случаях, когда мера наказания зависела от усмотрения судьи. Отчеты о суде над К. печатались во всех газетах. Прежние его сотрудники воздерживались от обвинений. Они позабыли все, что могло ему повредить. Все действовали сообща: защитник всячески доказывал, что К. не сознавал неправоты своих поступков. Наоборот, он был убежден, что такими смертными приговорами укрепляет боевой дух немцев. К. был оправдан.

Я представлял себе, как он, холеный, хладнокровный убийца, подняв узкую, аристократической формы голову, покидает зал, садится в собственный огромный лимузин, сопровождаемый своими лощеными соучастниками, которые засели в управлениях, канцеляриях, министерствах и, подмигивая друг другу, образовали единый фронт молчания.

И снова пришлось мне идти наперекор безнадежности, одиночеству и бессилию. Кого могли тронуть прежние жертвы? Уж никак не молодежь, которая понятия обо всем этом не имела.

Должно быть, это пережил каждый из нас, кто был в заключении и вышел на свободу. Из темных подвалов мы возвратились в мир, где веял ветер и солнце согревало нам руки, где шел дождь и где мы имели право сами отворить дверь.

Наш мир лежал тогда в развалинах после окончательной катастрофы. В свое время мы не переставали

предостерегать против нее, мы яростно боролись за мир на земле. Большинство из нас погибло. А немногие уцелевшие? Кому мы были нужны? Кто стремился узнать у нас какие-то подробности? Решительно никто.

Мы затаили свое изумление. Неужели те, кто позабыл о нас, когда нас швырнули в подземелье смерти, неужели они и в самом деле не хотят узнать, как это тогда было? Нет, ничего они не хотели знать. Они ни о чем не спрашивали. Они шныряли по сплошным развалинам в погоне за куском хлеба или сигаретой. В свое время они работали на войну, приведшую к полному краху. Они были слепы тогда и оставались слепыми. А главное — они уповали на великий закон забвения. Виновник злодеяния забывает о нем легче, чем жертва. Никто не спрашивал, не заговаривал о прошлом. Люди вторично отвернулись от нас и плакали на собственную судьбу. Мы же молчали, уразумев наконец, что сестра оборотня зовется забывчивостью.

Забывчивость прячет злодеяния под своим покровом. Эта недобрая опекушка входит по ночам в спальни, где мечутся в беспокойном сне преступники, залившие мир кровью, и своими призрачными руками снимает с них бремя воспоминаний, чтобы у них назавтра прибыло сил и отваги. Она обволакивает дымкой страх и трепет, она ласково баюкает ужас, чтобы он уснул в миллионах голов. Она, бледная сестра оборотня, несет на смену злобе дурман забвения.

А если кто-нибудь не смирившийся попытается напомнить о море пролитой крови и потребует наказания, тысячи других скажут, качая головой: ничего мы об этом не знаем. Кровь проливали? Не верю. О каких злодеяниях идет речь? Мы ничего такого не припоминаем...

Я провел бессонную ночь. Я вспоминал Еву, исчезнувшую без следа. Может быть, она, она, моя любимая, умерла. Мне виделись ее светло-серые глаза, каштановые волосы, тонкая фигурка. Слышался ее обычно насмешливый голос. Если бы она была жива, лучшей свидетельницы не требуется. На следующий день я встретил ее...

## ТРИ ЧАСА ПЯТЬДЕСЯТ МИНУТ

На улице, где я выслеживаю добычу, свернула машина, вытаращив фары в темноту. Машина полицейская, с антенной. Она тормозит, подъезжая.

В ней сидят двое в полицейской форме. Мне становится не по себе. Что им нужно?

Я пригибаюсь, чтобы они меня не заметили. Что тут особенного? У края тротуара стоит машина, как стоят на улице многие другие машины. Если меня станут спрашивать, могу предъявить документы и водительские права. Нет, ничего я не пил, ни капельки спиртного, но, пожалуй, вы правы, я скоро поеду домой. Не извольте беспокоиться, господа, и будьте здоровы!

Но они ничего не спрашивают. Они проезжают в своей машине, оснащенной сиреной, синей сигнальной фарой, радиотелефоном, они вооружены револьверами. Счастливого вам пути, господа! А я останусь и буду ждать.

Это случилось в конце серенького дождливого дня. Я сразу ее узнал. Она вышла из магазина напротив вокзала. Она подняла воротник плаща и оглядывалась, чтобы перейти на ту сторону.

Тут подошел я. Она испуганно вздрогнула, когда я поздоровался:

— Добрый вечер, Ева!

Она вопрошающе вглядывалась в меня и наконец поняла. Улыбка сперва чуть забрезжила на губах и вдруг озарила все лицо.

— Даниэль! Ты!.. Ты жив!

— Ева! Наконец-то, наконец я тебя встретил...

— Я так рада, так рада...

Личико у нее было взволнованное и очень бледное под раскрытым зонтом. Я видел его на фоне серых полос косога ливня. Она так судорожно стиснула ручку зонта, что ее тонкие пальцы побелели. Меня она не уставала оглядывать, точно какое-то чудо.



— Даниэль... милый мой, ты первый, кого я встретила. А столько времени прошло с тех пор...

— Как тебе живется, Ева?

— Помаленьку, Даниэль. Вот досада! Мой поезд уходит через десять минут. Но я оставляю тебе адрес, и ты мне напишешь, хорошо? Нам необходимо увидеться как можно скорее... Я живу во Франции...

Мы пошли на вокзал. Я взял в автомате перронный билет. Контролер проверил наши билеты, и мы вышли на перрон. Поезд был уже подан.

— Во Франции?

Кругом суетились люди. Подкатывали автокары с багажом. Рабочие постукивали по оси молотком на длинной рукоятке. Торопливые пассажиры бежали вдоль поезда. Газетчики катили по перрону увешанные пестрыми обложками тележки и выкрикивали названия газет. Высокие своды вокзала поглощали шум. Ева остановилась у двери вагона второго класса.

— Да. Пожалуйста, напиши мне сейчас же. Мы ни в коем случае не должны теперь терять друг друга из виду.

Я всматривался в ее лицо. И все больше узнавал в нем прежнюю Еву.

Я утвердительно кивал:

— Конечно, конечно, не должны, Ева.

— Даниэль, милый, напиши мне сейчас же, хорошо? — повторила она.

— Да, теперь мы ни за что не потеряем друг друга.

Я держал в руке газету и протянул ее Еве. Она торопливо записала свой адрес на полях газеты и вернула ее мне.

— Как это замечательно, что мы встретились, Даниэль. Я часто думаю о Вальтере, — неожиданно добавила она. — Хорошо, что ты выжил, Даниэль!

— А остальные, Ева? Ты о них что-нибудь слышала?

— Нет. Ни разу. А ты?

— Я тоже ни разу не слышал ни о ком, кроме одного...

— Кроме кого?

— Пауля Риделя.

— А-а!

— Да, он цел и живет здесь.

— Неужели?

— Да. Я возбудил против него дело. Ты нужна нам для суда как свидетельница.

Она вдруг застыла на месте посреди предотъездной сутолоки.

— Для суда? Бог с тобой, Даниэль, — шепотом сказала она. — Ни за что на свете! Пойми же, все это было так давно. Весь мир занят судами. И всюду без конца ворошат прошлое, пережитые муки! К чему это ведет? Я счастлива, что все это миновало. А Пауль... он действовал по принуждению... ты сам знаешь. Пойми меня, Даниэль...

— Но речь идет не только о нас, Ева. Пауль и других...

Мимо нашего вагона пробежал кондуктор и крикнул:

— Прошу садиться! Закрыть двери!

Она стояла на нижней ступеньке и озиралась.

— Устроить тебе место у окна?

Она слабо улыбнулась:

— Спасибо. У меня есть плацкарта.

Она вошла в вагон, захлопнула дверь и опустила стекло.

Я смотрел вверх на нее.

— Выслушай меня, Ева. Вальтер погиб, остальные бесследно исчезли, должно быть, тоже погибли. А он останется безнаказанным?

Она перегнулась ко мне из окна и стала меня уговаривать тихо и настойчиво:

— Даниэль, если я тебе еще хоть чуточку дорога, избавь меня от этого. Я хочу забыть. Мы больше всего нуждаемся сейчас в забвении и прощении.

— Именно об этом мечтают все преступники.

Я видел, что она растеряна. На миг мне показалось, что она собирается выйти из вагона. Потом она покачала головой:

— Не думаю, чтобы от меня была вообще какая-нибудь польза.

— От тебя требуется только краткое свидетельское показание. Не помогать торжеству правды — значит поощрять неправые дела.

Она беспомощно скользила взглядом по коридору вагона. Потом снова высунулась в окно.

— Суд принесет новое горе и новую вину.

— Суд очистит нас в собственных глазах. Если ты меня поддержишь, Ева, если ты дашь показания, мы сможем наконец привлечь его к суду. Адвокат подробно объяснит тебе все. Прошу тебя, Ева...

В этот миг раздался пронзительный свисток. Стоявший поблизости дежурный подал сигнал к отправлению. Ева распахнула дверцу. Она была очень бледна.

Поспешно выпрыгнула она со своим чемоданчиком и захлопнула за собой дверь. Поезд тронулся и бесшумно укатил вдаль.

— Я останусь и уеду завтра, — сказала Ева.

Я взял у нее чемодан. Мы пошли по перрону. Оба молчали. Но когда нас вдруг стал поливать дождь, мы подняли головы и рассмеялись.

— Мы пошли не в ту сторону. Выход остался позади, — сказал я.

— Куда нам идти? — спросила она, недоумевающе оглядываясь по сторонам.

Готовый к отправлению пригородный поезд стоял на соседних путях. Немногочисленные пассажиры смотрели в залитые дождем окна.

— Давай уедем из города, — попросила она, не глядя на меня.

— Сядем в этот поезд. Тут как раз есть свободное купе, — предложил я и открыл дверцу вагона.

Мы вошли и сели друг против друга. Купе было тесное, убогое, с деревянными коричневыми скамьями. Поезд как будто только нас и ждал, он сейчас же тронулся и увез нас с вокзала. Дождь барабанил в окно. Когда явился кондуктор, получилась небольшая заминка, но в конце концов он выдал нам билеты до третьей станции. Приветливо и двусмысленно ухмыляясь, он объяснил, что там в самом лесу расположена старая деревня, и что гостиница там, уж надо думать, найдется.

— Уговорили! — ответили мы и поехали туда.

Вначале она молчала. Должно быть, ей надо было разобраться в самой себе. Что за неожиданный поворот: за десять минут до отхода поезда она встречает приятеля былых времен и едет с ним в какую-то деревню! Что все это значит? Да и значит ли вообще что-нибудь? Подействовала ли на нее моя настойчивая просьба выступить свидетельницей или проснулись

воспоминания прошлого? А ночью? Что будет ночью? Во всяком случае, это должно остаться чисто деловой и дружеской встречей и ничем более

Я начал расспросы. Мне хотелось знать все обстоятельства ее жизни.

— Когда ты вышла на свободу?

— Весной сорок пятого, — ответила она.

— Откуда?

— Из Берген-Бельзена.

— А как же СП? (СП означало смертный приговор.)

— Гестаповский комиссар, отославший меня в концлагерь, сказал мне, что мои бумаги сгорели.

— А все остальные?

— Я ни о ком ничего ни разу не слышала.

— Тяжко тебе пришлось?

— Не будем об этом говорить.

— А что ты делала потом?

— Поехала в Аахен, — ответила она кратко.

Это было в ее духе. Она принадлежала к людям решительного склада. Это она доказала во время ареста Вальтера, да и только что на вокзале, когда в последнюю минуту прыгнула с поезда. Но распространяться она не любила. Или уж начинала рассказывать по собственному почину.

— В Аахене обосновалась сестра... родители не перенесли того, что случилось. Одно время мы жили там вместе. Я работала в аптеке. Хозяева оказались очень симпатичные — доктор Кениг и его жена... Мне было хорошо у них... Нет, особенно голодать нам не приходилось... Нет... Я прожила в Аахене всего два года... Потом переехала в Лион... Нет, не одна... Нет, замуж я не вышла... Я поступила в детскую больницу... Нет, мне выхлопотали разрешение работать, это было не легко... потом мы уехали... И вскоре расстались... Он живет в Бразилии... Счастлива ли я?.. Сама не знаю. Ты когда-нибудь в жизни был счастлив?

Я сознался, что до сих пор не был, если не считать отдельных минут. Да, пожалуй, счастье и всегда длится считанные мгновения — это никак не длительное состояние, заметил я и вспомнил наш давнишний с ней разговор в ложе оперного театра.

— А может, человек тогда бывает счастлив, когда перестает думать о себе, потому что занят другим, людьми или делом? — предположила она.

Это было так похоже на нее. Она всегда думала о других. Конечно, она изменилась, немножко пополнела с годами. Исчезла хрупкая худоба юности. Но стройность она сохранила. Я смотрел на ее маленькие, но очень сильные руки. Грудь по-прежнему была почти незаметна, а шея тоненькая и без единой складки. На лице временами появлялось выражение трезвой примиренности. Но лицо было прежнее, прозрачно-бледное, изящного овала, и глаза те же — ясные, серые.

О суде она не упоминала. Ранние сумерки дождливого дня положили тени на ее почти неподвижное лицо. Большую часть времени она смотрела в окно и только иногда внезапно взглядывала на меня, скорее холодно, нежели дружелюбно. Казалось, она жалеет о своем скоропалительном решении. В сущности, против меня сидела почти чужая женщина. О себе она, правда, рассказала, хотя скупно и неохотно. Но моей судьбой, моими переживаниями даже не поинтересовалась. Может быть, для нее было достаточно, что я сижу перед ней живой и здоровый? Так или иначе, сказывались долгие годы разлуки. Даже пылкие чувства остывают, даже любовь стареет и смотрит на любимого померкшим взглядом, и страсть иссыкает с годами. Но, может быть, я ошибался? По совести говоря, я был немало разочарован. Какой непосредственной и сердечной была встреча у вокзала! Спешка придавала ей особую остроту. Теперь времени у нас было достаточно и, правду сказать, сердечности поубавилось. Чуть-чуть? Насколько — я и сам не знал. Вообще я не понимал, что из этого получится.

Когда поезд остановился в третий раз, мы сошли. Гостиница находилась неподалеку от станции. А вся деревня оказалась меньше, чем я себе представлял. Хоть бы Еве здесь понравилось! Я взял ее чемодан, и мы в сгущающихся сумерках подошли к гостинице.

Зал был всего один. Лампы уже горели. Почти за всеми столиками шумно ужинали непринужденно веселые мужчины. Мы отыскали свободный столик и попросили чего-нибудь поесть.

Кельнерша сказала, что может предложить только шницель с красной капустой.

— Сами видите, какой сегодня наплыв посетителей. Чуть не вся районная конференция столуется здесь. Мы съели шницель с капустой. С согласия Евы я велел принести бутылку рейнвейна. Вино оказалось не очень хорошим, но и не слишком плохим. Мы выпили и почувствовали себя немного свободнее.

Затем я окликнул толстушку-кельнершу.

— Нам нужны две комнаты на ночь.

Она вздернула брови, словно ослышалась.

— Комнаты? Что вы! Все переполнено. Даже глэдильная занята.

— Есть обратный поезд сегодня вечером?

— Сейчас уже нет! Последний поезд ушел в город час назад.

Ну и влипли мы. Ева сухо рассмеялась:

— Намечается интересное приключение.

— По-видимому. Фрейлейн!

На третий зов она явилась потная и озабоченная, отводя волосы со лба тыльной стороной руки. Она написала счет. Я не поскупился на чаевые и спросил:

— Где тут еще можно переночевать?

— Не думаю, чтобы где-нибудь нашлась свободная комната. Районная конференция...

— Знаю, знаю. А может быть, все-таки найдется частная комната?

— Разве что у вдовы Карлс. Попробуйте-ка. Карлс на Биркенштрассе.

Мы отправились под дождем на Биркенштрассе. Дом был старый, неказистый, в палисаднике — несколько чайных роз на облупленных белых подпорках. Дождь капал с увядающих цветов, повесивших головки. Некоторые лепестки уже упали в траву.

У вдовы Карлс было щучье лицо, илисто-серое, с чуть выдвинутой нижней челюстью, и при этом она то и дело открывала рот — старуха страдала астмой и ей не хватало воздуха. Круглые глаза ее выцвели от старости и приобрели серебристый оттенок рыбьей чешуи.

— Входите, так и быть, — сказала она и, шаркая, поплыла в зальце. Мы последовали за ней. Она набрала воздуха и начала:

— Да, знаете, ведь районная конференция...

— Знаем, — перебил я.

— И у меня все сдано, — вставила она и набрала воздуха.

Она оглядела нас.

— Конечно, я могла бы лечь на кухне, а вам уступить спальню.

— Договорились, — быстро сказал я. — А где она?

— Спальня?

— Да.

— Здесь и есть, — она улыбнулась и грациозно развела морщинистыми, в коричневых пятнах руками, словно приглашая нас в рай. Комната была нарядная, с массивной мебелью, обитой потертым вишневым плюшем, со множеством салфеточек и разных предметов прошлого столетия. Все это венчала люстра с хрустальными висюльками вокруг трех электрических лампочек. Хозяйка указала на кровать.

— Кровать я вам, конечно, перестелю. Вы ведь женаты?

— Гм, — промычал я, не глядя на Еву.

Она не проронила ни звука.

— Ну да бланк заполнять тут не требуется. А много вообще все равно. Были бы приличные люди. Десять марок с утренним завтраком. Сейчас принесу белье.

Старая щука сделала круг по комнате, как по аквариуму, чтобы прихватить с собой газету, грязный кухонный нож и вылущенные стручки. Должно быть, до нашего прихода она лущила бобы. Затем, набрав воздуха, она выплыла в дверь.

Комната была опрятная, но плохо проветренная. Я открыл окно, и мы с наслаждением вдохнули чистый воздух дождливого вечера. Старуха вскоре воротилась с кувшинами, полными воды, и застелила кровать свежим, приятно пахнувшим полотняным бельем. В комнате сразу стало уютнее. Затем старая щука закрыла окно. С многоопытной материнской улыбкой в щелках серебристо-слюдяных глаз пожелала доброй ночи и выплыла вон.

Мы остались одни.

— Я лягу на кушетке, — заявил я.

— Ерунда, мы ведь не чужие, — возразила она.

— Ты права.

Она сидела на кушетке и смотрела на меня.

— Что было, то прошло, — сказала она решительным, не допускающим возражений тоном. И я понял, что она имела в виду.

— Договорились, — подтвердил я.

Мы посидели некоторое время. Я устроился в старинном кресле, обитом красным репсом. Она достала из чемоданчика плитку шоколада, разломила ее и положила на стол. Мы поели шоколада.

— Расскажи мне все, — потребовала она.

Я рассказал ей все события вплоть до последнего дня, не рассказал только о своем намерении убить Риделя.

Рассказ затянулся, и в комнате совсем стемнело. Одно лишь лицо Евы смутно мерцало передо мной. Она не шевелилась. Вначале она как будто думала о другом и не слушала меня. Очевидно, в свое время она постаралась запереть все это на семь замков, забыть, замуровать навсегда. Но вот у нее вырвался короткий возглас, негромкий вопрос. И мне показалось, что моя одинокая лодка посреди ночного мрака причалила к берегу, где тихо и спокойно стояла она, вновь обретенная прежняя подпольщица.

— Что из нас сделали?

— Не знаю.

Мы говорили тихо, еле слышно, с долгими промежутками. Во время одного из таких промежутков она встала и направилась было ко мне, но потом пошла к своему чемодану. Однако я услышал, что она остановилась на полдороге; она пошла обратно и прижалась своей щекой к моей щеке. На другой моей щеке я ощутил прохладу ее ладони. Это длилось мгновение, затем она направилась к умывальнику.

— Не зажигай света, — попросила она.

Она разделась и умылась. Когда она пошла ложиться в постель, на ней была ночная сорочка.

Я тоже умылся ее мылом, открыл окно и лег рядом с ней... Мы лежали далеко друг от друга, как чужие.

За окном все еще журчал дождь. Капало с крыш. Временами по комнате скользили полосы света от проезжавшей мимо машины. Окна была завешаны густыми тюлевыми гардинами. Иногда вдруг начинали звенеть хрустальные подвески на люстре под потолком. Должно



быть, кто-нибудь из участников районной конференции проходил в носках по комнате верхнего этажа. Это длилось долго. Рядом на постели я слышал ее дыхание. Ровное, негромкое дыхание. Я лежал на спине и чувствовал, что сам тоже дышу ровно. Иначе и быть не могло. С самого начала я ощущал между нами меч из старинных сказаний. Неужели же я воспользуюсь неожиданным стечением обстоятельств? Нет, я не из тех, кто поступает так, кто не умеет держать себя в узде. Нет, я не оскорблю ее, мою былую возлюбленную, непрошенной близостью. Да и в чем настоящая близость? Кроме того, между нами существует подтвержденный обоими договор. Нет, мы будем спать как брат с сестрой, а завтра подробно поговорим о суде. Может быть, я свезу ее к круглолицему адвокату. Вы требовали свидетеля, милостивый государь? Вот он! А теперь приступите к исполнению своих обязанностей... Может быть, Ева даст согласие. Постараюсь уговорить ее завтра, когда она выспится.

— Помнишь ту ночь, когда была бомбежка? — спросила она. Я кивнул в ответ. Она взглянула на меня, потом долго смотрела в потолок и молчала.

— Все это в прошлом, — сказала она наконец.

— Разве тебя это не радует?

— Да, конечно, но вместе с тяжелыми временами ушло и другое, то, что каждому человеку дается раз в жизни. Ушла молодость, дружба, любовь. Тогда мы о них не думали. Мы жили только взятой на себя задачей, только будущим, а настоящего не замечали. Не интересовались им. Правда, хорошего в нем было мало. Но то неповторимое у нас все-таки было. Ты согласен со мной?

— Да.

— А теперь все это в прошлом.

Мне стало ясно, что она так же одинока, как я.

— О нет, настоящего счастья я не знала, — сказала она, как будто отвечая на вопрос. — Слишком сурова была наша жизнь, слишком много было в ней страха и опасности. Тот, кому нужно быть постоянно настороже, не может беззаветно отдаваться радостям минуты. Мне жаль, что у меня теперь нет настоящей задачи.

— Она у тебя есть.

— Как раз сейчас я на перепутье. Я из тех людей, которые не могут жить без настоящей задачи.

— А больные?

— Это, конечно, важное дело, но уходу за больными может обучиться каждый. Нет, мне нужно что-то большее.

— Что же именно?

— Сама не знаю. Но что-то большее. Жизнь должна иметь какой-то смысл. Наш мир — глухие дебри. Мне хочется учиться, читать книги... Книги о человеке и человеческом обществе.

— Планы у тебя обширные.

— Ну что ж. Это похоже на сложный кроссворд. Надо подобрать буквы, чтобы найти решение. Может быть, я и добьюсь решения.

Нас окружала дождливая, прозрачная, как стекло, ночь. В спальне царил странный, нереальный полусвет. Дождь за окном лил с каким-то скучным, серым безразличием, как будто трудовой день он уже закончил, но из чистого великодушия решил потрудиться сверхурочно до утра. Из водостока доносилось сонное бульканье. В окно вливался рассеянный свет. Должно быть, это горел уличный фонарь, пронизывая дождливую ночь. Я покосился на Еву. Она лежала на спине. Я различал ее лицо, смутно белевшее в темноте, и блики в открытых глазах.

Тогда я принял решение.

— Знаешь, Ева, почему ты несчастлива? Потому что остановилась на полдороге, не завершила главной своей задачи. А люди твоего склада не могут быть счастливы при таких условиях. По-твоему, все кончилось с выходом на свободу из Берген-Бельзена?

— Перестань.

— Ты уехала в Аахен, оттуда в Лион, ты пыталась забыться. Нет, твоя задача не завершена.

— Перестань.

— Вспомни Вальтера. Неужели несправедливость так и будет тяготеть над ним? А остальные? Неужели они обречены на забвение и поругание? Вспомни виновных, предателей, судей и палачей. Под нами, прикрытые всего двумя метрами земли, гигантские поля трупов. По-твоему, так и надо, чтобы убийцы попирали их каблуками и славословили царящую в мире справед-

ливость? Ну, конечно, они отмыли запятнанные кровью руки и сожгли свои мундиры. Они окопались в своих алиби. Они знать не знают о том, что было, они выгораживают друг друга, клянутся, что знать ни о чем не знали, да и теперь ни о чем не ведают. Неужели допустить, чтобы они оказались правы?

— Да перестань же наконец!

— Не перестану. Мы-то знаем, что они творили зло, по долгу службы творили зло и насилие. Мы знаем, что они нагородили лжи до самых небес, черную тучу подлой лжи. Иногда она проливается кровавым дождем. Тогда все беспокойно ежатся, прячутся за надежное табу и бормочут: «Пора бы, чтобы перестал этот несносный дождь, надо наконец подвести черту. Времена меняются...»

А я спрашиваю: кто их менял? Мы? Нет! Они сами об этом постарались. А мы лежим целые ночи без сна и терзаемся угрызениями совести. Нам хочется кричать при виде того, как возрождается ложь. Но не кричать, а бороться надо нам, всем до единого. Повторяю: там за окнами, под асфальтом зловещего «экономического чуда» лежат целые равнины мертвецов, малочтимых, не поминаемых, забытых. Кто думает о них? Ты думаешь?

Долго было совсем тихо.

Она плакала. Плакала долго.

Сквозь слезы у нее вырвалось:

— Не мучай меня больше... И сам не мучайся так ужасно... Не надо этого касаться...

— Я не оставлю тебя в покое.

Она зарыдала, всхлипывая, как ребенок. Рассудительная печаль осталась в купе пригородного поезда. Теперь передо мной горько плакала беспомощная девочка. Я не шевелился. Она плакала долго. Мало-помалу успокоившись, она спросила охрипшим от слез голосом:

— У тебя есть носовой платок?

Мы дружно рассмеялись. Я встал и принес носовой платок. Она обстоятельно высморкалась. Потом поднялась и взглянула в окно:

— Дождь почти перестал.

— Да.

— Может, встанем?

— Зачем?

— Пройдемся немножко...

— Сейчас? Щука подумает, что мы собрались улизнуть.

— Пусть все на свете щуки думают, что им угодно.

Некоторое время мы молчали. Потом она наклонилась надо мной и шепотом произнесла одно слово. Это было имя, каким когда-то она называла меня.

— Дан...

Так она говорила иной раз в том, былом мире. Я поднял на нее глаза. Она еще немного нагнулась, так что ее лицо почти касалось моего лица.

— Ева... — прошептал я.

— Вот и лежим мы с тобой на чьей-то дедовской кровати и называем друг друга прежними именами, — сказала она.

— Между прочим, кровать удобная, — констатировал я и засмеялся.

— Очевидно, все это не такое уж далекое прошлое, как мне казалось.

Она тоже засмеялась и что-то игривое появилось в ней. Я был совсем сбит с толку. \*

— Ты остался верен себе, это очень хорошо, — шепнула она.

— Но ведь прошлого не веротишь, — ответил я. — Или...

— Или что? — повторила она и задумалась.

Я молчал. Она опустилась на свою подушку и, глядя в потолок, задумчиво ответила:

— Пржней дружбы, пожалуй, нет. Я думаю, это оттого, что мы теперь лучше знаем жизнь и... я думаю...

Что она думала в эту минуту, я так никогда и не узнал. Это осталось невысказанным. Ибо тут двум погибающим от жажды будто дали пить, и они пили, пили.

Когда наутро старая щука всплыла в комнату с завтраком, круглые рыбы глаза так и поблескивали.

— Ну что, кровать удобная?

— Замечательная.

— Кофе вас подкрепит.

— Безусловно.

— Вы тоже имеете отношение к районной конференции?

— Непосредственного — нет, фрау Карлс.

— У нас своя собственная конференция, — рассмеялась Ева, разливая кофе. Мы сидели за круглым столом, на который поверх красной бархатной скатерти фрау Карлс постелила салфетку лилейной белизны.

— Нда, молодость, молодость, — пробормотала фрау Карлс на пороге, усмехнулась с налетом грусти и набрала в грудь воздуха.

Позавтракав и уплатив по счету, мы отправились на вокзал. Дождь прекратился, сквозь тучи пробивалось солнце. Пригородный поезд с допотопными вагончиками был переполнен по случаю субботы. Пустого купе не оказалось, и нам не удалось продолжить разговор.

Но в привокзальной сутолоке я задал вопрос:

— Поедем ко мне?

— А где ты живешь?

— Почти за городом.

— Нет, давай лучше останемся в городе.

— Хорошо. Но времени у нас еще много.

— Я еду двенадцатичасовым поездом.

— Очень жалко.

— Так будет лучше.

— Почему?

Она не ответила. Она внимательно читала объявление на афишной тумбе о пароходной экскурсии по озеру.

— Знаешь что? Покатаемся по озеру. Это далеко?

— Нет.

— Успеем вернуться вовремя?

— Конечно.

— Есть там лодки?

— Кажется, есть.

— Так поедем на озеро.

Мы оставили ее вещи и мой плащ на вокзале и автобусом отправились к озеру. Когда мы приехали, солнце светило вовсю. Стояло теплое, красочное октябрьское утро. Мы наняли лодку и вскоре очутились вдали от мирской суеты, посреди озерного простора... Я опустил весла на борт лодки. Вода лениво капала с лопастей. Лодка мерно покачивалась. На озере было очень тихо. Вдалеке на серебристой глади виднелся ялик. Парус повис, как тряпка.

Ева лежала на досчатом дне лодки. Локтями она упиралась на кормовую банку. Взгляд ее скользил по озеру.

— Вот где настоящий покой, — прошептала она.

— Да.

— Здесь наконец ты понимаешь меня?

— Да.

— Тогда не будем больше говорить о прошлом.

— Наоборот, я как раз собирался предложить тебе повидаться с адвокатом. Я могу условиться с ним по телефону о встрече сегодня днем. Все утро он занят в суде. Если ты побываешь у него среди дня, уехать ты сможешь первым вечерним поездом. Тем самым, на который собиралась сестра вчера.

— Послушай, Даниэль, ты прямо какой-то одержимый. Что с тобой? — И она с изумлением уставилась на меня. В ее продолговатых глазах я прочел тревогу — тревогу за меня.

— Прошлой ночью я высказал тебе все, Ева. Теперь дело за тобой, решай, как знаешь.

— Да я все продумала, пока ты спал. Способствовать преследованию кого-бы то ни было я не хочу. Даже просто не могу.

— Значит, ты меня подводишь?

— Нет, не подвожу, Даниэль. Пойми и ты меня. Я надеюсь еще стать нормальным человеком, каким была когда-то, смеяться и жить, как все люди. Но мои надежды рухнут, если на этом мучительном суде снова вскроются старые раны. И тогда уж я до конца дней так и буду калекой в душе. Оставь мне крупицу радости, пощади меня.

Она говорила тихо и настойчиво, все на одной ноте. Только под конец голос у нее сорвался. Она была глубоко взволнована и смотрела на меня с отчаянием во взгляде. Я был разочарован. А потом меня взяла злость. Все это звучало у нее очень мило, очень женственно, но меня она все-таки собиралась подвести.

— Дело не в объяснениях, а в поступках. Объяснить можно что угодно, вплоть до трусости и убийства. Щадить этого убийцу — значит разделить с ним вину за смерть Вальтера. Тебя это устраивает?

Она все еще смотрела на меня, но лицо ее теперь подернулось пепельной бледностью, а губы дрожали от ярости.

— И ты смеешь мне это говорить?

— Да. И еще имей в виду вот что: свидетелей можно вызвать официально, и тогда они обязаны дать показания. Суд принудит их к этому. Я укажу на тебя как на свидетельницу независимо от твоего согласия.

Она качала головой, не сводя с меня взгляда.

— Дан... Дан, опомнись, ты не владеешь собой, ты болен ненавистью... Ты погубишь себя, если и дальше будешь действовать, как в трансе. Образумься, Дан!

Ах, бедняжка! Оказывается, ею руководит жалость, высокий гуманизм, трогательное человеколюбие! Ну нет, на эту удочку меня не поймает!

— Прекрати эту пустую болтовню, — напустился я на нее, — бога ради, прекрати!

Она выпрямилась рывком.

— Гроби к берегу! — приказала она.

Я схватил весла, словно собрался кого-то пристукнуть, и резкими, злобными взмахами погнал лодку к берегу. Я расплатился, и мы пошли вдоль озера. Было прекрасное теплое утро. Мы шли довольно долго, как вдруг я почувствовал, что ее ручка пристраивается на моей ладони. Я круто обернулся.

— Послушай-ка... — начал я.

— Нет, теперь послушай ты, — перебила она, — мы ожесточенно спорили о том, что нужно делать, когда преступление уже совершено. Мы рвемся в бой задним числом. Это мы умеем. А не лучше ли было бы заранее принять меры?

— Что ты хочешь сказать?

— О боже, боже! Ведь самое главное — не допустить, чтобы это повторилось. И, наверно, есть труды, книги, где все это подробно проанализировано.

— Конечно есть.

— Так разве не важнее изучить их, чтобы вынести оттуда урок?

— Ты увиливаешь.

— Нет. Оплакивать прошедшее — пустое дело. Куда полезнее по мере сил расчищать путь к лучшему будущему, в котором такое никогда не повторится.

Она повернула ко мне свое ясное, прозрачное, бледное личико. На лбу обозначилась морщина глубокого раздумья. От кого угодно ожидал я такого ответа,

только не от нее. На миг я совсем опешил. Что это значит?

— Это значит, — бодро подхватила она, словно читая мои мысли, — что причины подобных катастроф заложены в человеческом обществе. Там, надо полагать, многое подгнило, раз то и дело вспыхивают войны. Подрастают дети, много детей. Надо же им наконец вынести урок из страшного опыта предыдущих поколений. И скажи мне, Дан, разве это не самая важная задача для женщины?

— Конечно... — Теперь я понял ее.

— И эта задача поможет мне стать здоровым человеком. Ведь речь идет о будущем, Дан.

Я посмотрел на нее. И вдруг ощутил нечто вроде зависти к ее невозмутимому, почти жизнерадостному спокойствию.

— Когда ты все это продумаешь, напиши, Дан, и решай сам, можешь ли ты обойтись без меня на суде. Я все о себе сказала, и тебе теперь ясно, какое зло ты можешь мне причинить.

— Благодарю тебя. — Нет, конечно, я не смею настаивать. Она избрала правильный путь. И тем не менее... тсс, молчу.

— А теперь ни слова об этом.

— Договорились, Ева.

— Отлично. Ну а теперь выпьем по чашке кофе.

Мы направились в кафе. На открытой террасе стояло всего несколько столиков. Мы сели друг против друга. Она была прелестна в лучах утреннего солнца, глаза так и светились.

— Ты молодец, Ева, — сказал я после паузы.

— О боже, боже! Теперь он задумал ублажить меня сливочками! Кстати, их забыли подать к кофе.

Она насмешливо вздернула верхнюю губу. И тут же добавила шепотом, без тени насмешки:

— Вчера в поезде я тоже не ожидала, что это будет так хорошо.

— Это была ночь, проведенная под знаком шуки.

Мы развеселились и болтали всякую чушь. Потом поехали на главный вокзал, взяли свои вещи и вышли на перрон к поезду. Она стояла у окна вагона, тоненькая, с улыбкой на ясном личике.



— Ты мне скоро напишешь... Дан? — спросила она напоследок и улыбнулась неизъяснимой улыбкой.

— Скоро...

— Поезд отправляется!

И поезд умчал ее прочь.

10

---

## ЧЕТЫРЕ ЧАСА **ОДНА** МИНУТА

Ждать бесполезно. Сегодня ночью Пауль Ридель уже не придет. Но это ему не поможет. Разве что он проживет лишний день. На следующую ночь я опять буду сидеть в машине и терпеливо, безмолвно дожидаться его.

Он, верно, проторчит до утра в своем баре. Разгульная компания потребителей шампанского смакует и оплачивает его томные пассажи. А может, он сам выпивает в кабаке. Или где-нибудь в меблированной комнате проводит время с женщиной из тех, что торчат по ночам в барах, мучнисто-бледные, в шелках, с распутным взглядом и грубым соблазном в прокуренном голосе. И он рукой виртуоза ласкает ее напудренные прелести. Во всяком случае, он редко так поздно возвращается домой.

Нет, Ева не права. Пусть она идет своим путем. А эту миссию выполню я один, сурово и молчаливо.

Правда, вскоре после отъезда Евы у меня был еще один рецидив нерешительности. Тогда я еще не укрепился в своем решении. Не знал, что предпринять.

Ева твердо выбрала свой путь, думал я. Я как живую видел ее перед собой, ощущал запах ее волос, ее руку в моей руке. Я сидел в зале ожидания, мне казалось, что так я ближе к ней. Это было в субботу днем. За столиками сидело много народу в отличном настроении по поводу конца недели. Только я сидел один, как сыч. И вдруг я понял, что навсегда утрачу способность радоваться, если убью того человека. Остаток жизни я проведу в тягостном полумраке вины.

Я призвал мертвых. Я призвал Вальтера. Передо мной встало его светлое, четко очерченное лицо. Я увидел, как он в далеком прошлом поднимает свою любимую серебристую трубу, чтобы исполнить сольную партию, которой все ждали с нетерпением. Нам казалось, что он говорит с нами, находит ни разу не высказанные, но всем понятные слова, песню души человеческой, жалуется и обвиняет.

Я призвал Пелле, который в начале войны раненым возвратился из Польши. Ничего, нога кое-как двигается, рана оказалась не очень тяжелой. Настоящая рана была гораздо глубже. Никто в нашей группе не боролся так страстно и неутомимо, не щадил себя так мало, как он. Смеялся он редко, но руки у него были умелые, а сердце чистое.

Я призвал Мюке, нашего юного зенитчика ПВО, нашего скрипача, острого на язык, настороженного, как перепелка, прямого и правдивого во всех своих помыслах. Мюке — истое детище войны — побывал в разных переделках, жил, где придется, и когда мы распекали его за какой-нибудь промах, он пригибал к плечу круглую мальчишескую голову и гнусил: «Господи помилуй, мама бранится...» Мы для него были вроде родителей. Он в этом нуждался. Временами! И когда Ева распекала его, он блаженствовал и чувствовал себя среди нас как дома.

Мысленно я призвал их и спросил всех троих, освобождают ли они меня от преследования. Уж очень это тяжелая задача. Очень уж горько расходиться мыслями и взглядами с большинством, одиноко идти по жизни и постоянно плыть против течения. Не пора ли прекратить эту муку?

Я увидел бледное лицо Вальтера, лица Пелле и Мюке. Они не ответили. Не взглянули на меня. Позволено ли мне выйти из-под их власти и примкнуть к тем, кто выжил? Я боролся с собой. Твердил себе, что путь, избранный Евой, правильнее. Вскрыть причины — задача куда более важная.

Тут мне пришло в голову, что о встрече с Евой следует сообщить адвокату. Ведь решение она предоставила мне. А он пусть на всякий случай знает, что нашлась настоящая свидетельница. Тогда он, может быть, согласится не закрывать дела «Серебряной шестерки».

Расследование можно будет продолжать, и дело дойдет до судебного разбирательства, на котором все станет на свое место. У меня гора с плеч свалилась, когда я понял, что в этом случае мне не надо будет убивать Риделя. Да и вообще мне вдруг показалось, что убить человека невыносимо. А тогда это будет не нужно. Тогда оба мы будем спасены. Пауль Ридель предстанет перед судом. Приговор по нынешним порядкам ему вынесут мягкий, но с меня наконец-то будет снят тяжелый гнет. Помнится, недавно мы толковали о счастье. Выходя с вокзала, я впервые вздохнул свободно. И улицу в данную минуту переходил вполне счастливый человек. Дело непременно дойдет до судебного разбирательства, и я смогу прекратить преследование. Мне никого не надо будет убивать. Я спасен. Я был как в чаду.

Дыша полной грудью и насвистывая, шагал я по улице. Ветер гнал передо мной обрывки бумаги, мимо с визгом пробегали дети, машины табунами резво и бесперебойно скользили взад-вперед, и толпы людей шумно двигались по улицам. А над всей этой суетой ласково светило осеннее солнце, окрашивало серые фасады в розовые тона, зайчиками играло на открытых створках окон и озаряло веселым ярким светом фонтан с тремя мощными конями, выплевывавшими три серебристые струйки воды. Надо было торопиться, чтобы застать М. на месте.

Я сел в автобус и поехал в контору адвоката. Может быть, я успею захватить его. До его конторы всего несколько остановок. По дороге я достал из кармана пальто газету и заинтересовался широковежательным заголовком одной статьи.

Углубившись в чтение, я чуть не проехал остановку. В самую последнюю минуту я услышал, как кондуктор объявил Парковую аллею, вскочил и выпрыгнул, когда автобус уже трогался. До конторы было минуты две ходу. Автобус ушел, а я пустился в путь.

«Вы требовали свидетеля, господин адвокат? Я доставлю вам свидетеля, вернее, свидетельницу. Ей известна суть дела. Вот ее адрес».

В самом деле, как ее адрес? Я сунулся в карман пальто за газетой. Ее там не было. Я обыскал все карманы. И наконец вспомнил: газета с адресом Евы осталась в автобусе. Я забыл ее там. Я побежал было за

автобусом, но он успел отъехать на порядочное расстояние. Я стал искать такси. Но поблизости не было стоянки. От этой газеты зависело все судебное дело, зависела жизнь Риделя. Вне себя от волнения ждал я, не придет ли свободное такси. Я бегал с одной стороны улицы на другую. Люди оглядывались на меня, некоторые посмеивались. Я добежал до угла, рассчитывая, что там легче поймать такси.

Ничего подобного.

Была суббота, конец рабочего дня. В магазины вбежали последние покупатели — магазины вот-вот закроются. Уже с грохотом опускались первые железные шторы. Лица были оживленнее обычного, и разговоры прохожих звучали веселее, чем в будни.

Только я молча брел в толпе торопливых пешеходов. Мне уже было не до смеха. Возле дома, где помещалась контора адвоката, была пивнушка... Я вошел туда, опустился на стул в углу и выпил рюмку малиновой.

Потом позвонил в транспортное управление, попросил поискать газету в указанном мною автобусе, сказал, что справлюсь в понедельник. Но успокоения мне это не дало. Кто станет сдавать найденную газету? Адреса на полях никто, конечно, не заметит.

Что я мог еще сделать?

Имеет ли теперь смысл идти к адвокату? Нет. Я только выставлю себя в смешном свете. Если я скажу, что нашел свидетельницу, он сразу спросит ее адрес, и мне придется ответить: «Адрес я потерял». Нет, лучше вовсе не упоминать об этом. Но как ни ломал я голову, адрес я вспомнить не мог. Она жила не в Париже и не в Лионе, а в каком-то городке с двойным названием, какие часто попадаются во Франции. Их там сотни. И департамента, обозначенного двумя буквами, я тоже не запомнил.

Минутами мне казалось, что сейчас перед моими глазами предстанет записанный адрес. Но тщетно я силился припомнить его. Я его не заучил — к чему, раз он у меня записан? Бессмысленно заучивать наизусть адрес, который лежит у тебя в кармане.

Она напрасно будет ждать от меня письма. А вдруг она сама мне напишет? Никакой надежды. У нее моего адреса нет. А если она попробует запросить бюро про-

пски, ей ответят, что я здесь не числюсь, ведь живу-то я за городом, в местечке с собственным административным аппаратом.

Значит, я во что бы то ни стало должен найти ее. Я разошлю письма по разным больницам. Поручу розыски детективу. Некоторое время она жила в Лионе. Это факт установленный. Там она работала в больнице. Я пересмотрю по карте Франции все города с двойными названиями, пока не нападду на тот, что мне нужен. Я должен найти Еву!

Тощий кельнер принес мне еще рюмку малиновой. У него было лицо меланхоличного ньюфаундлендского пса. Он уставился на меня красными от запоя глазами.

— Рюмку малиновой? — и он сделал пометку в своей книжке.

Потом нагнулся ко мне:

— Может, пересядете за другой столик?

— Зачем?

— Да этот отведен для постоянного гостя.

— А нельзя мне посидеть здесь до его прихода?

— Понятно, можно. Вы кого-нибудь ждете?

— Нет... Больше не жду.

— И незачем себе кровь портить. Ко всему надо подходить с юмором.

Он стоял у столика, образец неудачника, тощий, согбенный, в грязной белой куртке, и разглагольствовал:

— Знаете, я всегда говорю хозяину: юмор великое дело. Без юмора жизнь что прошлогодний огурец: внутри пусто, снаружи склизко, а на вкус горько. И знаете, где я это понял?.. В больнице. Теперь-то уже год, как я похоронил свою мамочку. Она была, что называется, «мамзель» и нажила себе рак. Ну вот, а теперь у нее в головах растет кипарис. Я его собственными руками ей посадил. Видите ли, я за свою жизнь разнес целый товарный состав пива, сюда — бутылку светлого, туда — пильзенского, к тому столу — кружку. По неволе узнаешь жизнь! Н-да, товарный состав, да еще из одних цистерн... Целую, можно сказать, Эльбу пива перетаскал я своими руками. И в счете не сбился ни разу. Как тут обойтись без юмора, посудите сами!

Из-за стойки раздался голос хозяина:

— Не болтай зря, Эдуард... Любит пускаться в рассуждения с посетителями, старый болтун...

Эдуард замер на месте, точно вор, спрятавшийся за портьерой. Глубокие складки пожизненного горя врезались в углы губ, опустив их еще ниже. Я увидел сероватый нос пуговкой, мутные от пивного тумана глаза на опустошенном кабацком лице с выражением наигранной беспечности, без искры юмора, я увидел официанта Эдуарда, измотанного увеселительной индустрией.

Я допил рюмку. Мне стало теплее от крепкой настойки. Когда я поднял глаза, ко мне приближался круглолицый адвокат М., широкоплечий, холеный, барственный. Массивные очки поблескивали на свету.

Он подошел ко мне:

— Алло, мастер Кольхаас! Вы что, меня дожидаетесь? Уселся за мой столик и разводит меланхолию... Хотите пойти ко мне? Лавочка закрыта, все разбежались — уик-энд. Эдуард, пильзенского.

И он, пыхтя, грузной, но подвижной громадой опустился на стул возле моего столика.

— Нет, я шел не к вам. Это чистый случай...

— Тем лучше. Скажите, вы в шахматы играете?

— Да.

Он отпил пива и закурил бразильскую сигару.

— Превосходно. Мой партнер запаздывает. Если не возражаете...

— Договорились.

Только теперь я заметил трех мужчин, сидевших в задней комнате за шахматной доской.

— Эдуард, доску!

Эдуард принес доску. Мы расставили фигуры. Вдруг М. перегнулся через столик и, пристально глядя на меня, спросил фамильярно-ворчливым тоном:

— Выкладываете... что еще стряслось?

— Ничего не стряслось.

— Бросьте увиливать и прятаться в кусты. Я вас слушаю, любезный друг!

Если бы не тон мужской дружелюбной фамильярности, которую он словно похлопал по плечу мой упавший дух, я бы ни за что не сказал ни слова.

А тут я выложил ему все про Еву. Рассказ вышел отнюдь не плавный, я то и дело запинался. В конце концов он узнал обо всем, вплоть до ночи, проведенной у старой щуки. Когда я замолчал, он снял очки и за-

думчиво уставился на шахматные фигуры. Я видел смену выражений на его миниатюрной физиономии.

— Разумеется, она права, — проронил он наконец.

Именно этого я и ждал. Он, не спеша попыхивая сигарой и прищулив близко поставленные глазки, продолжал:

— Вы малость рехнулись, мой друг. В мире не существует абсолютного равновесия между виной и возмездием. Неискупленной вины всегда порядочный излишек. А возмездие всегда бывает куцым. Вина куда хитрее и умеет ловко прятаться, а у возмездия ноги коротки и кругозор узок. Если на каждую вину да вдруг нашлось бы возмездие, то наш общественный строй попросту бы рухнул. Фактически каждый человек хоть раз в жизни бывает виновным. Кому из нас не случалось о чем-то умолчать, что-то утаить? А лжем мы все понемногу. Ложь стала хлебом насущным. Каждый человек сплетает себе мягонькую прокладочку из лжи, чтобы грубые толчки жизни были менее чувствительны. Так и надо... Так и надо... Кстати, пленительные девицы с ясным челом лгут искуснее всех и при этом еще содрогаются с видом оскорбленной невинности.

Он провел рукой по столу.

— Итак, не будем говорить о вине, хотя бы она достигла размеров Голнафа. Поговорим о возмездии. Это как раз ваш случай.

Он играл белыми и сделал ход e2 — e4.

Я fianкетировал слона.

Он быстро и ловко парировал мой удар.

— Если с возмездием дело обстоит так плохо, надо до тех пор изменять мир, пока не будет достигнуто равновесие, — сказал я.

— Вы сами знаете, что при словах «изменять, улучшать мир» у почтенных обывателей глаза на лоб лезут.

— Глупость не довод.

— Ну нет, глупость — довод, и даже сокрушительный, если ею охвачены массы.

Некоторое время мы молча переставляли фигуры. Он захватил инициативу и нажимал на королевский фланг. Я отбивался.

Внезапно он остановился и посмотрел на меня.

— Тише, тише, дружок, побольше выдержки. Прежде чем сделать этот ход, вы обдумали все варианты?

— Конечно, нет.

— Не способны?

— Нет. Даже гроссмейстеры не в состоянии учесть все возможности.

— Итак, по-вашему, каждая шахматная партия таит в себе необозримое количество возможностей?

— Конечно. Все знатоки разделяют это мнение.

— Ага, — сердито проворчал он и выпустил мне в лицо целое облако сигарного дыма.

И вдруг понизил голос:

— А между тем вы осмеливаетесь утверждать, что вину можно обозреть вплоть до мельчайших разветвлений. Конечно, за каждым движением руки стоят побудительные мотивы, особенно когда человек поднимает руку на другого человека. И эти побудительные мотивы проистекают из темного источника, в котором слиты воедино пережитое, страх, самозащита, ужас, надежда и умысел. Кто вздумает проследить вину до мельчайших ее истоков, тот забредет в дебри первобытных импульсов. А возмездие, голубчик, — это топорик первооткрывателя, который задумал выкорчевать первобытную чащобу вины. Чего вы добьетесь своим топориком?

Я его недооценивал. Мне он представлялся увертливым ловкачом из числа деятелей послевоенной юстиции, которого ничем не проймешь и не удивишь. А передо мной сидел вдумчивый шахматист, заглянувший в самые недра безнадежности и дошедший в ней до беспечного цинизма.

Мы произвели рокировку, после чего он стал настойчиво продвигать пешку. При этом он непрерывно говорил вполголоса отрывочными фразами, как будто они возникали случайно и непреднамеренно.

— Чего вы хотите? Устроить погоню за нацистом или прихвостнем нацистов? Ну хорошо, за шпиком... Вам приспичило выудить из пруда мелкую рыбешку. Если вам угодно взять этот труд на себя, сделайте одолжение, я не возражаю. Кстати, этот субъект был офицером?

— Кажется, нет. А разве это так важно?

— Как сказать! Кем были мы — адвокаты и судьи? Офицерами. Кем становились отборные нацисты? Офи-



дерами. Кем были директора заводов, профессора, преподаватели и чиновники? Офицерами. Поэтому, выступая на суде, я обычно говорю как бывший офицер с бывшим офицером, да и кассационная инстанция состоит по большей части из бывших офицеров. Здесь все одинаковое — язык, ордена, привычки, застольные гости: «Ваше здоровье, господа!»; манеры: «Рад служить, сударыня!»; да и реакция обычно одинаковая на такие слова, как «саботаж», «государственная измена» или «идет его превосходительство».

— А серой скотинке навечно отведено место на скамье подсудимых, — ввернул я.

— Или среди присяжных.

— Можно насчитать немало судей другого сорта.

— Конечно, но я ведь имею сейчас в виду не арифметику, а живых людей. Допустим, является эдакий червяк и требует примерно наказать члена национал-социалистской партии за то, что он донес на «государственных изменников». Недалеко уйдет ваш червяк. Скажем прямо — если у него хватит воли, он чего-то добьется. Но вам-то никогда в жизни не удастся припереть вашего шпика к стенке. Вам обстоятельства не благоприятствуют, ибо все такие типы давно успели обезопасить себя. Они либо служат в тайной полиции, либо подвизаются в безымянных международных организациях, и начальство их всячески покрывает.

— Это я заметил.

— Знаете, я до глубины души умиляюсь всякий раз, когда смотрю, как такой вот свалившийся с луны христосик устраивает погоню за нацистом. Да разве в нашем благословенном отечестве кто-нибудь может угадать, кто завтра будет гонимым, а кто гонителем? Что вы скажете, если этот самый шпик завтра повернется и организует погоню за вами, потому что вы для него помеха? Неужели вы не заметили, что у нас повсеместно утверждается правило: не знать, не видеть, не слышать и не говорить! Еще водятся у нас на западе такие упорные чудаки, которые позволяют себе злобствовать и брюзжать, но — «подожди немного, усмирят и их».

Он объявил открытый шах.

Я защитился ладьей.

В ответ он сделал рискованный ход ферзем.

— Шах и гарде, — сказал я.

Он сдался. Он слишком много говорил, а я тем временем обдумывал ходы. Он рассмеялся и подвинул ко мне свои фигуры.

— И тем не менее прав я. Как это, бишь, у старика Лютера? «Монашек, на трудный вступаешь ты путь...»

— Знаю...

— Больше не скажу ни слова, — пообещал он и молча склонился над шахматной доской. У него был массивный круглый череп с рыжеватым пушком вокруг плечи.

Партия была серьезная, и я проиграл.

— Кроме того, — подхватил он свою мысль, словно не было часового перерыва, — кроме того, у вашего шпика интересно совсем другое. Как повел бы себя во время войны англичанин или американец, если бы заметил, что какая-то подпольная группа подрывает боевую мощь государства? По всей вероятности, поспешил бы донести на нее.

— В том случае, если он сторонник правительства.

— Мне важно другое: должен ли человек исполнять свой долг, когда его народ воюет?

— Все зависит от того, что за народ, что за правительство и за что они воюют.

— Кто может это решить?

— Каждый для себя.

— А кто еще?

— Ну, народ как таковой.

— Отлично. Наш народ в большинстве своем в тот период был на стороне нацизма, недаром же он до последней минуты сражался за Гитлера. Гитлер уверил его, что судьба нацизма и судьба немецкого народа едины.

— Вы хотите сказать, что шпик действовал по убеждению, да?

— Возможно. Возможно, что он исполнял свой долг. Надо признать — несладкий долг. Где же начинается его вина и где она кончается? Кто кинет в него пресловутый камень?

Он допил пиво, пытливо вглядываясь мне в лицо близорукими глазами.

Его дыхание, пропитанное пивными парами, поднялось ко мне от шахматной доски.

— Теперь я понимаю, почему вы не давали хода моему делу, — ответил я.

— Вы все еще переоцениваете свои возможности.

— Думаю, вам ясно, что я беру назад свое заявление.

— Конечно, я и сам хотел вам это предложить.

Мы еще несколько мгновений посидели друг против друга, он — грузный, но гибкий, я — тощий, но непреклонный. Холодно смотрели мы друг на друга. Общим стало ясно, что нас разделяют миры. Он был из числа тех миллионов, что, обеспечив себя надежной защитой, ловко лавируют среди треволнений нашей эпохи. Я же принадлежал к той ничем не защищенной оппозиции, которая верит в изменяемость мира.

Между нами незримым призраком стоял Пауль Ридель. Несколько гераней на подоконниках из сил выбивались, стараясь своими красными соцветиями придать уют унылой, прокуренной пивнушке. Дородный средневековый ратман, ухмыляясь, подносил ко рту кружку пива на рекламе пивоваренного завода. Серая кошка спала, свернувшись клубком на телефонной книжке. За стойкой хозяин шумно полоскал стаканы.

Я смотрел прямо в лицо М. Внутри у меня все окаменело. Мне вдруг стало совершенно ясно, что этот самый М., даже глазом не моргнув, вынес бы «Серебряной шестерке» смертный приговор. Может, он в свое время участвовал в чрезвычайных судах? Может, сейчас это была речь в собственную защиту?

Я протянул руку и одну за другой повалил шахматные фигуры.

— Вечный шах, — сказал я, — мат впереди.

Я подозвал Эдуарда и расплатился.

М. жевал свою сигару.

Эдуард взял деньги. Он наблюдал наш спор и, опуская монеты в карман грязной куртки, заметил:

— Господа хорошие, а где же юмор? Я бы тут на месте умер, если бы не спас меня мой юмор!

Он взирал на нас с мрачной миной. Его сероватый нос пуговкой был испещрен синими жилками.

Из задней комнаты раздался окрик:

— Эдуард, кружку пильзенского!

— Перестань болтать, Эдуард! — рявкнул хозяин из-за стойки. Когда он вынул из локани свои мокрые

до локтя руки, они напомнили мне вяленые окорока. Он потерял ими нос, стараясь не замочить его.

— Итак, вот что я вам еще скажу... — начал адвокат, положил сигару в пепельницу и посмотрел на меня.

— Прощайте, — сказал я и ушел из пивнущки.

На следующий вечер я поехал в «Аскону» — поставил машину в соседнем переулке, внимательно оглядев ее стальной нос. Я колебался, не сесть ли мне в нее и не уехать ли отсюда. Я чувствовал, что плохо владею своими нервами. И все-таки я решил пойти в бар.

Еще из вестибюля услышал я его игру, знакомую мне слащавую мягкость удара и злоупотребление педалью.

Бар был относительно большой и состоял из двух зал, расположенных под прямым углом; рояль стоял на стыке между ними. Я увидел Риделя в третий раз после войны, и он сразу же меня узнал. Он сидел за роялем и играл пьесе в медленном темпе. *Valse triste* \*. Играл он с прежним мастерством. Я заметил, как он, зажав сигарету в углу рта, украдкой покосился на меня.

Прошло не меньше получаса, пока рояль замолчал и сменился магнитофоном. Пауль решительно встал и не спеша направился к моему столику. В его взгляде чувствовалась скрытая угроза.

Подойдя к столику, он настороженно огляделся по сторонам, улыбнулся и сел напротив меня.

— Посижу с тобой минутку, не возражаешь?

Я кивнул.

— Значит, ты меня помнишь?

Он помолчал в ответ и закурил сигарету. Его набрякшие веки нависали над глазами. Склонив голову набок и теребя свои белокурые усики, он не спускал с меня глаз.

— Ты взялся меня преследовать? — небрежно бросил он.

Я внимательно оглядел упитанное лицо с круглым, как вздувшийся пузырь, лбом и ответил, помедлив:

— Есть люди, которым всегда дело до других. До всех.

---

\* Грустный вальс (франц.).

Он посмотрел на меня в упор. В его лице ничто не привлекало внимания, разве что угроза во взгляде.

— Ты вздумал мне грозить?

— Чего же еще ты можешь от меня ждать?

— Ничего, кроме неприятностей.

— Ты думал уйти от последствий?

Он облокотился о стол и посмотрел на меня с какой-то издевкой. Дрожа от ненависти, сидели мы друг против друга, два смертельных врага, скованных друг с другом одинаковой судьбой.

— Вот как! Последствия! Какие? Последствия чего?

— Вальтер был казнен. Ты этого не знаешь?

— Разумеется, знаю, — не меняя тона, небрежно, с вызовом бросил он. — Ты никак не можешь подвести черту под прошедшим. Оказывается, ты из числа непримиримых.

— Как и мертвецы, — ответил я.

— Ты в этом уверен? Не знаю, что бы они сказали, если бы сидели с нами за столом.

— Тогда, на суде, я увидел, каким взглядом посмотрел на тебя Вальтер за то, что ты предал нас.

— Э! И ты подал на меня в суд?

— А ты ждал от меня чего-то другого?

— О нет, нет. Но, может статься, что не найдется доказательств и свидетелей. Возможно, кроме нас с тобой, никто ничего не знает о тех временах. Но у каждого из нас своя версия...

— Почему же ты удрал от меня недавно на улице? Ты испугался!

— Эх, бедняга! Неужели ты до сих пор не понял, что мне нечего пугаться? Никто меня не посмеет тронуть, в том числе и ты!

— Я знаю одно: ты выдал «Серебряную шестерку» и остался безнаказанным.

Он выпрямился.

— Ах, так! Скажите пожалуйста! А где ты возьмешь свидетелей, чтобы подтвердить эту подлую клевету? Берегись, приятель! Если ты посмеешь это повторить, я привлеку тебя к ответу за оскорбление. Я работаю, играю на рояле, и не испугаюсь, как бы ты ни старался испепелить меня взглядом. И тебе советую забыть прошлое. Времена меняются. Тем, кто держится прежних убеждений, прямая дорога в сумасшедший

дом. А кто вздумает навлечь на меня подозрения, того привлекут за клевету, понятно?

Он смотрел на меня с лютой злобой. Оба мы не шевелились.

Потом он поднялся с явной угрозой. Судя по его лицу, я ждал, что он сию минуту накинется на меня, закричит, что я его оскорбил, — словом, воспользуется большим количеством свидетелей, чтобы вызвать скандал. Но вдруг взгляд его потускнел, он сделал рукой жест, как бы отмахиваясь от докучного насекомого, и удалился.

Вскоре я тоже вышел из бара и внимательно огляделся по сторонам. Мне было неясно, как он поведет себя дальше. Во всяком случае, не мешало быть настороже. Этот субъект — опытный охотник за людьми. Увидев свою машину, я твердо понял, что надо делать. В эту ночь я окончательно приговорил его к смерти. Нет, Еве не понадобится выступить на суде. Пауль Ридель не отделается мягким приговором. А не нарочно ли я потерял адрес Евы? Сидя за столом в своей меблированной комнате, я učinил себе следующий допрос:

«Ответь, чего ты добиваешься: справедливости?»

«Да, и ничего больше».

«Ты добиваешься справедливости правовым путем?»

«В данном случае это равнозначно оправданию убийцы. Я добиваюсь подлинной справедливости».

«Ты должен во всеуслышание ратовать за правду и вскрыть погрешности нынешнего судопроизводства».

«Я пытался. Существует другое исконное правосудие, гласящее: око за око».

«Ты хочешь пользоваться орудием врага?»

«Что ж, придется взять на себя этот грех».

«Может быть, он раскаялся?»

«Нет, взгляд у него тусклый и наглый».

«А как же Ева?»

«Ева хочет забыть о вине и смерти. Того же хотят и виновные. Этот спор будет решен между мною и охотником за людьми».

«Без суда?»

«Честные судьи есть, но нет правосудия».

«Но кто же ты?»

«Преследователь».

«И каков твой приговор?»

И я, Даниэль Брендель, выслушав оба внутренних голоса, встал и сказал: — Смерть...

Это было вчера. А сегодня пробил урочный час. Я сижу в машине. Мотор выключен. Асфальт поблескивает под морозящим дождем. Если я сегодня дождусь его, он расплатится с такси, получит из автомата пачку сигарет, а затем перейдет через дорогу.

Бьют часы на колокольне. Я поднимаю взгляд. Церковь все еще подсвечена, но мутно-зеленый предутренний свет стремительно заполняет небо. И вот мне представляется на миг, что небо — прозрачный шатер, нет, вернее, гигантский амфитеатр, на его ярусах расположилось все человечество и, затаив дыхание, следит за двумя ничтожными козявками, двумя недругами — тем, что караулит, и тем, что приближается, — словно исход их борьбы чем-то важен для человечества и словно повторяется это изо дня в день.

Густо-зеленый небосвод медленно затягивается розовато-серыми, отливающими перламутром кучевыми облаками. Неоновые контуры окрашивают колокольни и сигнальные мачты большого города в серо-лиловые тона. Скрежет последнего трамвая будит вдали первый птичий крик.

Ночь медленно подходит к концу.

Уже пятый час...

Сюда сворачивает такси. Фары у него потушены. Оно замедляет ход. Оно останавливается.

Это он. Я слышу его голос и машинально завожу мотор. Мотор работает бесшумно.

Держи себя в руках! Он расплачивается, он слегка навеселе. Свидетелей нет.

Он говорит:

— Нет... нет... сдачи не надо. — Каждый звук ясно слышен в ночной тишине.

— Спасибо. Спокойной ночи, — отвечает шофер.

— Спокойной ночи, — говорит Пауль Ридель, шпик, и это будут последние его слова.

Такси отъезжает. Он подходит к автомату. Со звуком падает монета. Он берет пачку сигарет. Сейчас он

перейдет через дорогу. Он хочет разорвать пачку и задерживается на краю тротуара...

В этот миг я слышу негромкий, но четкий голос адвоката:

«Без свидетелей это безнадежно... безнадежно... Докажите мне свидетелей...»

И голос Евы, срывающийся от горя, я слышу в этот миг:

«Пощади меня... Наверно, есть книги, в которых об этом говорится...»

Но тут же слышу голос шпики. Он топорщит усики, стягивает губы в коралловое колечко и грозит мне:

«Если ты посмеешь это повторить, я привлеку тебя к ответу!»

Он ступает на мостовую и готовится перейти на другую сторону. Я выключаю сцепление и даю газ. Взревев, черная машина устремляется на человека. Грозная сила заключена в этой тонне металла.

Дошедший до середины улицы человек настораживается, отрывает взгляд от пачки сигарет, смотрит на встречу машине. И вдруг понимает. Мне это ясно. На его лицо падает сноп ослепительно ярких лучей. И увидев в свете фар это искаженное лицо, я сознаю, что сейчас совершу убийство. Оно заранее задумано и сию минуту будет осуществлено. Я беру чуть в сторону. Машина проносится на ничтожном расстоянии от человека. Я слышу его крик. Он шарахается на тротуар, бормочет себе под нос пьяные ругательства и грозит вслед. Все это я вижу в зеркало. Я вихрем пролетаю несколько улиц. Потом, резко затормозив, останавливаюсь, выхожу из машины и стою один на мокрой от дождя мостовой. Я прислоняюсь к фонарю. Слышу, как кто-то тяжело дышит. Оборачиваюсь. Это я сам.

В воздухе разлита предутренняя свежесть. При свете фонаря я вижу, как моросит дождь. Завтра я верну машину. Один человек не вправе осуществить возмездие. Его право — бороться. Я привлеку на свою сторону другого адвоката. Я отыщу Еву и неустанно буду добиваться суда.

Как сказала Ева? Надо изучать причины, читать книги. Передо мной сложнейший кроссворд. Может быть, придет день, когда я найду решение.



## ПОС Л Е С Л О В И Е

«Три часа. Он должен появиться с минуты на минуту. Он перейдет через улицу. Я включу передачу и рвану с места. Затем дам полный газ, и он очутится под колесами». Так начинается роман Гюнтера Вейзенборна. Книга состоит из десяти глав, как бы следующих за часовой стрелкой. Первая глава называется «Три часа утра». Последняя глава называется «Четыре часа одна минута». Время действия, таким образом, ограничено одним часом. Дата не указана, но это, по всей вероятности, 1961 год. Место действия—Западный Берлин.

Западный Берлин... Прибегнув к образному сравнению, Бодо Узе, писатель Германской Демократической Республики, сказал, что этот город—самая дешевая из атомных бомб, имеющихся в арсенале поджигателей войны. Он добавил, что с 13 августа 1961 года, с того дня, когда правительство ГДР закрыло на замок границу с Западным Берлином, угроза взрыва стала менее велика. И все же Западный Берлин—город, в котором хорошо живется фашистам старого и нового образца, город, в котором готовятся всяческие провокации,—и теперь представляет собой большую опасность. Его можно сравнить с миной замедленного действия, которая в конце концов может взорваться, если вовремя не предотвратить взрыв.

Гюнтер Вейзенборн принадлежит к числу тех немецких писателей, которые всеми силами стараются предотвратить катастрофу третьей мировой войны, угрожающую человечеству. Живя и творя по ту сторону Эльбы, он каждым новым произведением доказывает свое гражданское мужество, остается верен своим дружеским чувствам к людям, создающим новый мир,— к странам социализма, к ГДР и СССР.

Шестидесятилетний писатель верен себе и в другом. Теперь, как и прежде, он ненавидит фашизм, самое страшное и самое мерзкое порождение старого мира. Он снова и снова объявляет во всеулышание об этой ненависти. Он говорит во весь голос, не приглушая его гневного звучания. Западногерманская пресса уже не раз пыталась попросту зачеркнуть Гюнтера Вейзенборна как писателя. Однако писатель Гюнтер Вейзенборн существует, он делает свое дело, общее с делом мира на земле. Об этом в полной мере свидетельствует его последний роман «Преследователь».

С первых слов книга кажется детективом. На самом деле это современный роман с ярко выраженной разоблачительной тенденцией. Бестенденциозной литературы вообще не бывает, но Вейзенборн, как правило, создает книги открыто тенденциозные. Разумеется, весь вопрос в том, какова выражаемая им тенденция. В известном советскому читателю романе «Построено на песке» Вейзенборн наглядно показал, что пресловутое «экономическое чудо», сотворенное на американские деньги, не имеет под собой никакой прочной основы — ни социальной, ни моральной. Можно ли в расчете на будущее строить на песке? Новой книгой Вейзенборн, в полном соответствии с действительностью, утверждает, что в Федеративной Республике Германии прошлое не умерло, оно живет, его представители благоденствуют. Можно ли рассчитывать на светлое будущее, не покончив с темным прошлым?

Итак, Западный Берлин 1961 года... Впрочем, все то, что изображено в романе «Преследователь», могло бы произойти и в 1963 году. Процесс реставрации фашистского прошлого, отобразенный в книге, совершался в ФРГ вчера и совершается сегодня. Вейзенборн своим романом требует, чтоб этому был положен конец.

Героя романа зовут Даниэль Брендель. Повествование ведется от его имени. Это он, сидя во взятой напрокат машине, поджидает человека, которого решил убить. С трех часов ночи до четырех часов утра он успевает передумать многое. Его мысли переходят от настоящего к прошлому, от прошлого к настоящему. То, что он считает себя обязанным совершить, возмездие за преступление, относящееся к прошлому, к временам второй мировой войны.

Что это за преступление? Кто преступник? Как он стал им? Что произошло с его жертвами? Вопросы возникают один за другим, читатель с нетерпением ждет на них ответа.

Писатель создает сюжетный роман, но крутые сюжетные повороты, быстро сменяющие друг друга, не являются для него самоцелью. Задача, которую он ставит перед собой, состоит не в том, чтобы щекотать нервы читателей. Согласно его замыслу, композиционное построение романа способствует эмоциональному восприятию его основной идеи. А эта идея тесно связана с самым главным из всех вопросов, возникающих при чтении книги: что делать, чтобы преступное прошлое не повторилось?

Книга Вейзенборна — художественный вымысел. Однако она построена на документальной основе. Чтобы убедиться в этом, следует обратиться к книге «Безмолвное восстание», выпущенной Вейзенборном в 1953 году.

Бывают случайные совпадения в датах, которые обретают символический смысл. В 1953 году, как известно, вражеская агентура ФРГ и США тщетно пыталась спровоцировать в ГДР выступления против народно-демократического правительства. Воспользовавшись тем, что в ГДР трудный переход от старого к новому не обошелся без ошибок, враги напрасно старались доказать, будто не ГДР, а ФРГ находится на пути к лучшему будущему. Исход событий 17 июня 1953 года свидетельствует о том, что трудящиеся не поверили в эту злонамеренную ложь. И

вот как раз в том же году Вейзенборн выпустил книгу, сурово осуждающую установленный в ФРГ порядок. Причем это был не роман, а сборник документов, явившийся результатом многолетнего кропотливого труда. Это были документы героической борьбы, которую вели немецкие подпольщики против фашизма. Комментируя собранный им достоверный материал, Вейзенборн писал, что в ФРГ вторично убивают павших героев, на сей раз — равнодушным молчанием. Почему в ФРГ предпочитают не вспоминать о тех, кто ценою собственной жизни спасал честь немецкого народа в позорнейшие времена германской истории? Не потому ли, что силы прошлого, признаки возрождения которого Вейзенборн отмечал с болью и гневом, действуют вновь?

Со свойственной ему прямоотой Вейзенборн обращался в своей книге непосредственно к боннскому бундестагу. Он спрашивал, почему бундестаг не удосужился почтить память лучших сыновей и дочерей немецкого народа. «Хоть двумя-тремя словами обмолвился он? Хоть словом, одним-единственным словом? — писал Вейзенборн в своей книге. — Нет, это слово так и не было сказано».

Конечно, Вейзенборн понимал, что все это не случайно. Именно поэтому в его книге прозвучал тревожный вопрос: «Неужели же силы прошлого... предав забвению наших мертвецов, вторично одержат над ними победу?»

И вот восемь лет спустя Гюнтер Вейзенборн создает роман «Преследователь», в котором снова звучит тот же вопрос.

В книге, посвященной героям антифашистского подполья, участникам «безмолвного восстания», длившегося не день, не месяц, не год, а двенадцать лет, в течение которых продержалась гитлеровская «тысячелетняя империя», упоминается подпольная группа «Золотая шестерка». Как сообщают найденные Вейзенборном документы, в ее состав входили пятеро мужчин и одна женщина. Они были музыкантами, их ансамбль — он-то и назывался «Золотая шестерка» — пользовался успехом в рабочем районе Берлина. Никто не знал, что участники ансамбля, собираясь под предлогом репетиций, изготавливали антифашистские листовки. За неделю — опять-таки по имеющимся документам — они распространяли от 200 до 300 листовок, оставляя их в подъездах или бросая в почтовые ящики на дверях. Так было до тех пор, пока подпольщиков не выследило гестапо.

В романе «Преследователь» подпольная группа именуется «Серебряной шестеркой»; фамилии ее членов вымышлены. В документах не сказано, выдал ли эту группу какой-нибудь предатель или гестапо напало на ее след иным путем. Используя свое право на творческую фантазию, писатель досказывает то, что недосказано.

Даниэль Брендель, главный герой романа, был членом подпольной группы «Серебряная шестерка». Пауль Ридель — тот, кого он поджидает в предрассветные часы, чтобы убить, — предал товарищей. Первый раз он стал предателем из трусости, а потом снова и снова предавал за деньги; на его совести много жертв.

Такая сюжетная завязка понадобилась писателю для того, чтобы показать сегодняшнюю Западную Германию, в которой благоденствуют вчерашние преступники.

Пауль Ридель когда-то был хорошим пианистом. Он и теперь играет на рояле. Никто из слушателей не знает, что его руки в крови. Встретившись с Даниэлем Бренделем, он в первый момент пугается возможной огласки. А потом... потом он не только ничего не боится, но даже угрожает... Эта сцена, как, впрочем, и многие другие в романе, ярко характеризует существующий в ФРГ режим. Наглость, проявленная бывшим подручным фашистских палачей, объясняется не только индивидуальными особенностями его натуры; она обусловлена общественными причинами. Оставаясь в рамках избранного им сюжета, писатель разворачивает перед читателями неприглядную картину современной западногерманской действительности.

Даниэль Брендель твердо решил призвать к ответственности Пауля Риделя, чье преступление не должно оставаться безнаказанным. Но как это сделать? Прокуратура требует от Бренделя, чтоб он подтвердил свое обвинение свидетельскими показаниями. Казалось бы, что может быть проще? Тем более что Бренделю везет: ему удастся разыскать судью К., того самого, который когда-то вынес смертный приговор пятерым членам «Серебряной шестерки». Уж он-то не может не знать, что Ридель, выступавший на суде главным свидетелем обвинения, был предателем.

Разговор Даниэля Бренделя с судьей К. — писатель, по всей вероятности, зашифровывает его имя для того, чтобы создать иллюзию полной реальности происходящего, — едва ли не самый значительный эпизод во всем повествовании. Его значимость в том, что в нем выявляется истинная сущность мнимой западногерманской «демократии». Подлинная демократия предполагает подлинное правосудие, а его нет и в помине. Может ли судить по совести тот, чья совесть запятнана соучастием в преступлениях, совершенных фашистами? Описывая встречу Даниэля Бренделя с судьей К., писатель дает ясный ответ на этот вопрос.

Даниэль Брендель уцелел потому, что его судебное дело сгорело во время бомбежки. Благодаря этому он попал в концлагерь, а не на эшафот. А его друга Вальтера Хайнике, самого целеустремленного, самого решительного из пятерых, казнили. Бренделю не известно, что стало с его товарищами, с любимой девушкой Евой Ланг. Не только от своего имени, а от имени их всех он требует восстановления справедливости. Но разве при существующих условиях это не наивность?

Тот факт, что господин К. был судьей при Гитлере и остался судьей при Аденауэре, говорит сам за себя. Разумеется, писатель взял этот факт из жизни, где он далеко не единичен. Но дело не только в самом факте, а в том, как он описан в книге. Представляя читателям судью К., художник рисует человека, пишущего самодовольством. Господин К. совершенно уверен в том, что у него твердая почва под ногами. Для приличия он лицемерит, елеинным голосом рассказывая Бренделю о том, каких душевных терзаний стоили ему смертные приговоры, которые его «заставляли» выносить. Что поделаешь, в конце концов, и он, судья К., был жертвой фашизма. Беззастенчиво глядя Бренделю в глаза, судья К., как видно, ждет его сочувствия. Сам он, конечно, тоже сочувствует ему, но помочь, увы, не может ничем. Пауль Ридель? Нет, он не помнит такого. Память, к сожалению, стала сдавать... Беседа кончается тем, что господин К. вежливо выпро-

важивает Бренделя, который напрасно рассчитывал на него как на свидетеля. Зачем судье К. свидетельствовать против самого себя?

Так замыкается круг. Автор показывает, что его герою не вырваться из этого круга. Впрочем, он говорит не о круге, а о стене, которую не прошибешь. За этой стеной всяческие паули ридели чувствуют себя в полной безопасности.

Как найти выход из замкнутого круга? Как прошибить стену? Роман Вейзенборна — это, в сущности, поиск. Писатель ищет ответа на самый главный из всех вопросов.

Он вводит в роман счастливый случай, благодаря которому Даниэль Брендель и Ева Ланг встречаются вновь. Ева Ланг, певица «Серебряной шестерки», во время подпольной борьбы не раз проявляла большое благородство и большое мужество. И вдруг она отказывается выступить свидетелем против Риделя. В чем же дело? Вероятно, в том, что героиня романа, а с нею и автор ищут иных, более действенных способов решения сложной проблемы. Ищут, но пока еще не находят.

Ева Ланг в общем права, когда она стремится познать причины и следствия, выявить сущность того, что было; именно это она и считает своей главной целью. Но Ева Ланг, в частности, ошибается, когда она своим отказом от свидетельских показаний лишает Бренделя возможности добиться судебного процесса против Риделя: ведь такие процессы тоже способствуют познанию причин и следствий. Понятно ли это автору? Разумеется, иначе он не написал бы книгу, которую можно уподобить открытому судебному процессу против паулей риделей и господ К.

Все это так, но... что же делать, чтобы добиться окончательной и бесповоротной победы над фашизмом старого и нового образца? В чем гражданский долг каждого, кто хочет этой победы?

Даниэль Брендель решает творить возмездие собственной рукой. Он не видит иного пути к восстановлению справедливости.

С этого, как известно, начинается роман. А чем он кончается?

Даниэль Брендель едва не убивает Пауля Риделя. Но в последнюю секунду его машина пронесется мимо. Этот неожиданный сюжетный поворот обретает в романе особое значение.

Если бы Даниэль Брендель сделал то, на что его вынуждали обстоятельства — в одиночку вынес приговор и привел его в исполнение, — преступника постигла бы заслуженная кара. На земле стало бы одним фашистом меньше. Но гибель фашиста еще не означает уничтожения фашизма. Существуют иные способы борьбы против фашизма, более действенные, чем тот, который вначале избрал герой романа. Очевидно, автор романа понимает это, отсюда и неожиданная развязка событий.

Даниэль Брендель по-прежнему убежден, что бороться надо; это право и обязанность каждого. Но как? Вот в чем вопрос.

«Я отыщу Еву и неустанно буду добиваться суда, — думает Брендель на последней странице романа. — Как сказала Ева? Надо изучать причины, читать книги. Передо мной сложнейший кроссворд. Может быть, придет день, когда я найду решение».

Концовка романа невольно заставляет вспомнить о том, что за последнее время стало своего рода литературной традицией западногерманских писателей-антифашистов. Ни Эрих Мария Ремарк, автор романа «Триумфальная арка», ни Генрих Бёлль, ав-

тор романа «Бильярд в половине десятого», разумеется, не относятся к сторонникам индивидуального террора. И все же в их книгах фашистов избивают или убивают.

Вейзенборн, таким образом, создает иную концовку.

На чьей же стороне правда? Или, вернее, на чьей стороне больше правды?

Когда герои Ремарка, Бёлла пускали в ход кулаки или оружие, они тем самым доказывали себе и другим, что надо действовать, надо бороться, — в этом их сила. Но они действовали, они боролись в одиночку — в этом их слабость.

Герой Вейзенборна, оставляя в живых того, кто не достоин жизни на земле, не отказывается от борьбы с ним и подобными ему. Он ищет других способов борьбы, понимая, что возмездием, осуществляемым в одиночку, многого не добьешься.

Найдет ли другие способы борьбы герой Вейзенборна? Это покажет будущее.

Вейзенборн в отличие от многих западногерманских писателей снова и снова создает в своих книгах образы героев антифашистского Сопротивления.

Тема антифашистской борьбы обретает в его творчестве особый смысл: это и та борьба, которая велась раньше, в годы гитлеровской диктатуры, это и та борьба, которая должна вестись теперь, в годы аденауэровской республики. Писатель не отождествляет прошлое с настоящим, но ему ясно, насколько велика опасность повторения всего того, что было.

Подпольщик с 1937 года, Гюнтер Вейзенборн примкнул к группе Харро Шульце — Бойзена, деятельность которой широко развернулась в годы второй мировой войны. В 1942 году, когда начался разгром этой группы, Вейзенборна арестовали. Девять месяцев он провел в одиночной камере, ожидая смертного приговора. Потом его переводили из тюрьмы в тюрьму. В 1945 году Вейзенборна вместе с другими заключенными освободили советские войска.

Еще в тюрьме тайком, на куляках, которые он клеил, как и все заключенные, Вейзенборн начал писать свою автобиографическую книгу «Мемориал». В этой книге чередование глав создает смещение во времени — настоящее и прошлое перемежаются друг с другом.

В тюрьме Вейзенборном написаны лишь те главы, в которых он вспоминал о воле. Нередко это пейзажные зарисовки: лунная ночь на Рейне, где он родился; солнечный день в Аргентине, где он прожил несколько лет.

О том, что пережито в тюрьмах, Вейзенборн написал уже после освобождения. Так создается в книге контраст света и теней.

«Они могут ворваться и потащить тебя, куда хотят. Они могут сделать с тобой все, что им угодно. Ты слаб, ты в наручниках, ты один. Их всегда много, они сильные и вооруженные... — пишет Вейзенборн. — В каждой камере кто-то бегаёт из угла в угол, барабанит в стену, побелев от ужаса, замирает в неподвижности и стонет, и не сводит глаз с двери, и ждёт. В мертвой тишине коридора гулко звучат шаги. К кому они направляются?»

Однако не следует думать, будто все главы, посвященные воспоминаниям, солнечные, а в главах о тюрьмах Шпандау, Моабите и Луккау — один сплошной мрак. Это не так, ибо те, кого пытали и казнили, до последней минуты не выпускали из рук зажженные ими «факелы человечности». Писатель убежден, что эти факелы неугасимы.

Посвящая книгу памяти погибших товарищей по борьбе, Вейзенборн обычно не упоминает о том, что многие из них коммунисты. Например, Вальтер Хуземан, предсмертное письмо которого опубликовано в сборнике «Воспрянет род людской», изданном в ГДР. Вальтер Хуземан писал отцу перед казнью: «Легко называться коммунистом, пока за это не приходится платить кровью. И настоящий ли ты коммунист, можно доказать только тогда, когда наступает час испытания. Я коммунист, отец!»

Впрочем, когда на последних страницах книги «Мемориал» появляется Франц-пекарь — тот, кто тайком передавал наиболее истощенным ломтики хлеба, а «вместе с хлебом и надежду», — автор сразу же представляет его читателям как коммуниста.

Пьеса Вейзенборна «Нелегальные», также посвященная героям антифашистского подполья, в 1961 году была вновь поставлена в одном из берлинских театров. Конечно, это произошло не в Западном Берлине, где пьеса совершенно забыта, как будто ее вовсе и не было.

Джон Хартфильд, которому принадлежало художественное оформление берлинского спектакля, сказал: «Пьеса Вейзенборна — это одновременно и воспоминание и предостережение. Она, к сожалению, актуальна».

Предостережением служит и пьеса Вейзенборна «Семья из Невады». В ней использован факт, о котором сообщалось в американской прессе: для того чтобы испытание атомного оружия в штате Невада оказалось как можно более сенсационным, на том месте, где ожидался взрыв, устроили игрушечный дом, населенный куклами величиной в человеческий рост; обитателей дома прозвали «семьей Дарлинг». Этот факт, сам по себе мелкий, наглядно доказывает, что в США подобные испытания рассматриваются отнюдь не как печальная необходимость.

В пьесе Вейзенборна манекены оживают, куклы становятся людьми. Они не хотят умирать. От имени семьи Дарлинг и от имени миллионов человеческих семейств писатель требует предотвращения атомной войны.

Концовка пьесы аллегорична, как и весь ее замысел. Дарлинги подходят к самому краю сцены. Они смотрят в публику. До того, как их переправили в Неваду, они были манекенами в магазине готового платья, кстати сказать, на угловой витрине, на той, что для покупателей победнее. Они привыкли сидеть за стеклом. И вот теперь им кажется, что люди, сидящие в зрительном зале, тоже за стеклом, что они тоже манекены.

Для чего писателю понадобилась такая выдумка? Для того, чтобы посредством аллегории утвердить дорогую ему мысль: люди не должны быть манекенами, с которыми можно делать все что угодно. Простые люди, такие же, как Дарлинги, должны взять дело мира в свои руки. И тогда в мире будет мир. Этим словом, дважды повторенным, и завершается пьеса.

Писатель твердо убежден в том, что литература должна активно вмешиваться в жизнь, изменяя ее к лучшему.

Последняя книга Вейзенборна — роман «Преследователь» — представляет собой образец такого активного вмешательства в жизнь.

Не приходится удивляться, что гамбургская газета «Ди Вельт» откликнулась на появление этого романа злобной статьей. Ее автором оказался не кто иной, как Райх-Раницкий, заслуживший печальную известность целой серией статей, печатавшихся в той же «Ди Вельт», клеветнических статей о писателях ГДР.

Однако за Вейзенборна заступились его читатели. Мюнхенская газета «Ди Культур», прекратившая свое существование, потому что никто из предпринимателей не пожелал ее финансировать, напечатала небольшую подборку читательских писем. Эта подборка доказывает, что непредубежденные читатели оценили роман по заслугам. Они благодарны его автору за то, что он нашел в себе смелость во весь голос сказать правду о сегодняшней Западной Германии.

Нет сомнения, что и советские читатели оценят по достоинству новый роман Гюнтера Вейзенборна. Эта книга может служить оружием в борьбе за мир, против возрождения фашизма.

*Лидия Симонян*



## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Три часа утра . . . . .	5
2. Три часа пять минут . . . . .	10
3. Три часа десять минут . . . . .	15
4. Три часа пятнадцать минут . . . . .	44
5. Три часа двадцать минут . . . . .	59
6. Три часа двадцать пять минут . . . . .	77
7. Три часа тридцать минут . . . . .	94
8. Три часа сорок минут . . . . .	107
9. Три часа пятьдесят минут . . . . .	127
10. Четыре часа одна минута . . . . .	144
Послесловие . . . . .	160

---

*Гюнтер Вейзенборн*

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ

Художник *В. Медведев*

Художественный редактор *В. Я. Быкова*

Технический редактор *Ф. Х. Джатиева*

Корректор *Э. С. Зельдес*

Сдано в производство 12/1 1963 г. Подписано к печати 14/VI 1963 г. Бумага

84×108<sup>1</sup>/<sub>2</sub> = 2,6 бум. л. 8,6 печ. л. Уч.-над. л. 8,9. Изд. № 12.1655.

Цена 45 коп. Зак. 1059

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва, 1-й Рижский пер., 2

---

Типография № 2 им. Евг. Соколовой УЦБ и ПП Ленсовнархоза  
Ленинград, Измайловский пр., 29

## ГОНТЕР ВЕЙЗЕНБОРН

Родился в 1902 г. в Рейнской области. Изучал медицину, языки, литературу. В 1928 г. написал антивоенную драму «Подводная лодка С-4», которая имела большой успех. В 1931 году вместе с Бертольдом Брехтом написал драму «Мать» по роману М. Горького. После гитлеровского переворота некоторое время был в эмиграции. В 1937 г. вернулся в Германию, участвовал в антифашистском Сопротивлении. В 1942 г. арестован, приговорен к заключению в каторжной тюрьме. Освобожден советскими войсками.

Последние годы постоянно живет в Гамбурге.

Большое значение для развития прогрессивной немецкой литературы имели драма Вейзенборна «Незаконные» (1945) и роман «Мемориал» (1947), посвященный героической борьбе антифашистского подполья. На русском языке изданы его роман «Построено на песке» и драма «Семья из Невады».

Вейзенборн — одаренный и опытный художник слова, мастерски разрабатывающий увлекательные драматические сюжеты как в пьесах так и в повествовательной прозе.

Повесть «Преследователь» — одно из самых последних и самых дорогих для автора произведений. В нем отразились и некоторые личные наблюдения Вейзенборна — бесстрашного подпольщика-антифашиста, правдивого и зоркого писателя.

Цена 45 коп.



